



ОСИНАЯ ФАБРИКА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ПУТЕВАТЕЛЬНЫЙ ХОРРОР
ПЕРЕД ВАМИ — ДЕРЖИТЕСЬ
ЗА ПОРУЧКИ
ПЕВ ДАНУЭЛОН (АВТОР)

ИЭН БЭНКС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР ЧИТАЕТ ВСЬ МЫР

Annotation

Знаменитый роман выдающегося шотландца, самый скандальный дебют в английской прозе последних десятилетий. Познакомьтесь с шестнадцатилетним Фрэнком. Он убил троих. Он — совсем не тот, кем кажется. Он — совсем не тот, кем себя считает. Добро пожаловать на остров, который стерегут Жертвенные Столбы. В дом, где на чердаке ждет смертоносная Осиная Фабрика.

- [Иэн Бэнкс](#)
 - [ОТЗЫВЫ О КНИГЕ](#)
 - [ОСИНАЯ ФАБРИКА](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [ОТ ПЕРЕВОДЧИКА](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
-

Иэн Бэнкс
Осиная фабрика

ОТЗЫВЫ О КНИГЕ

«Осиная Фабрика» не просто многообещающий дебют, но исключительное достижение, настоящий маленький шедевр. Это роман-наваждение, роман-кошмар, от которого невозможно очнуться. Смерть и кровь наполняют его страницы, и единственная возможность разрядки — это черный юмор, ненавязчивый налет сюрреализма, поэтичность, наконец. Что-то совершенно инородное и шокирующее, удивительный новый талант...

Punch

Это больной, больной мир, если доверие и капиталовложения уважаемого издательства оправдываются произведением беспримерно порочным.

Бессмысленно отрицать гротескную плодovitость авторского воображения: блестящий диалог Бэнкса, жестокий юмор, отталкивающую изобретательность. Однако большинство читающей публики испытает облегчение оттого, что лишь профессиональные критики вынуждены по долгу службы брать в руки подобную литературу.

Irish Times

Первый роман настолько мощный, душераздирающе оригинальный, что вне зависимости от того, понравится он вам или нет — а не исключено, что вы его возненавидите, — это безусловно дебют года. Изумительное, тревожное, блестяще написанное произведение.

Cosmopolitan

С литературной точки зрения «Осиная Фабрика» воспаряет до уровня заурядности. Может быть, непроходимо откровенными выражениями и бесстыдством сюжета автор рассчитывал взять приемлемо авангардную ноту.

Не исключено, что это просто шутка, призванная одурачить

литературный Лондон, заставить уважать откровенную халтуру.

The Times

Иэн Бэнкс написал один из самых блестящих дебютных романов, какие мне попадались за долгое время. Просто поражает, насколько тщательно исследует он навязчивое состояние рассказчика, с какой ясностью и скрупулезностью (ничего лишнего!) выстраивает сюжет. Удивительный роман, в буквальном смысле слова удивительный.

Daily Telegraph

Глупая, скверная, злорадно садистская небылица о семейке шотландских психов, одному из которых нечем больше заняться, кроме как зверюшек мучить. Написано чуть лучше, чем основная масса чуши в жанре хоррор, но все равно не более чем аляповатый литературный эквивалент видеоужастиков.

Sunday Express

Не шедевр и одна из самых тяжелых для чтения книжек, попадавших мне за последнее время, однако ритмика, сюжетно-тематический контроль и шокирующая изобретательность должны за элегантный дебют. Однако не могу сказать, чтобы книга доставила мне удовольствие.

Sunday Telegraph

Что же с этим сочащимся кровью томом? Тошнотворен ли он? Конечно, крови и грязи в нем побольше, чем в среднем романе хоррора... Однако ничего развращающего, ничего даже отдаленно порнографического.

Начать с того, что любую самую кошмарную сцену Бэнкс излагает с безумным, зашкаливающим за пределы юмором, а бороться с тошнотой и одновременно смеяться — затруднительно.

Во-вторых, ни одна сцена насилия не является лишней, все жестко обусловлено, работает на сюжет.

Впрочем, читать «Осиную Фабрику» вас никто не заставляет.

Считайте, что вы просто предупреждены.

The Scotsman

Простейший, если и не самый удачный, способ наделать шума своим первым романом — это нагромоздить побольше ужасов. Так и «Осиная Фабрика» сочетает омерзительную безответственность с массой нелепого садизма. К сожалению, сатирическое намерение автора затмевается его упоением чрезмерной жестокостью.

TLS

Если этой весной выйдет роман более жестокий или тошнотворный, я буду удивлен. Но в то же время вряд ли выйдет что-либо лучше. Читаешь «Осиную Фабрику» буквально затаив дыхание из боязни пропустить символ, или красивый оборот, или кошмар настолько ужасный, что волосы встают дыбом. Бесконечно болезненный для чтения, гротесковый и в то же время очень человечный, роман этот попрозы. В британской литературе появился новый талант первой величины.

Mail on Sunday

Отвратительное произведение — и, значит, наверняка завоюет массу поклонников. Нагромождает кошмар на кошмар в манере, должной удовлетворить читателей, придерживающихся модного ныне воззрения, что человек низок и подл.

Evening Standard

Готический роман самой что ни на есть высшей пробы. Жуткий, эксцентричный и неимоверно увлекательный. Дебютант владеет пером стократ уверенней и оригинальней многих признанных мэтров. Всячески рекомендую.

Financial Times

ОСИНАЯ ФАБРИКА

Посвящается Энн

Жертвенные Столбы

В тот день, когда нам сообщили, что мой брат сбежал, я затеял обход Жертвенных Столбов. Я заранее знал: что-то должно произойти. Так подсказывала Фабрика.

На северной оконечности острова, возле заброшенного стапеля, где все еще поскрипывает на восточном ветру гнутая ручка ржавой лебедки, я вкопал на дальнем склоне последней дюны два Столба. Один из Столбов украшала крысиная голова и две стрекозы, а другой — чайка и две мыши. Когда я насаживал на место покосившуюся мышиную голову, в вечерний воздух с криком и карканьем взвились птицы и закружили над петлявшей между дюнами дорожкой, там, где она проходила неподалеку от их гнезд. Я покрепче насадил голову, взобрался на гребень дюны и достал бинокль.

По дорожке, налегая на педали и пригнув голову к рулю, ехал Диггс, полицейский из города; колеса велосипеда зарывались в мягкий песок. У моста он спешил, прислонил велосипед к тросам, дошел до середины подвесного пролета, где была калитка, и нажал на кнопку переговорного устройства. Постоял секунду-другую, поглядывая на тихие дюны и садящихся птиц. Меня он не увидел, так хорошо я замаскировался. Наконец папа ответил на звонок. Диггс пригнулся к решетке, сказал пару слов, толкнул калитку и, перейдя на остров, двинулся к дому. Когда его скрыли дюны, я еще немного посидел в своем укрытии, задумчиво почесывая в промежности; ветер ерошил мне волосы, птицы возвращались в гнезда.

Я достал из-за пояса рогатку, выбрал полудюймовый шарик от подшипника, тщательно прицелился и навесом послал снаряд над рекой, телефонными столбами и маленьким подвесным мостом, ведущим на наш остров. С едва слышным звоном шарик угодил в табличку «Проход воспрещен — частная собственность», и я улыбнулся. Хороший знак. В подробности Фабрика, по обыкновению, не вдавалась, но у меня было ощущение, что она предупреждает о чем-то важном, и еще я чувствовал, что новость будет неприятной, но у меня хватило ума понять намек и пойти проверить Столбы, и теперь я знал, что меткости, по крайней мере, не утратил; так что пока все при мне.

Я решил сразу домой не возвращаться. Отец не любил, когда я бывал дома во время визитов Диггса, да и все равно мне еще надо было проверить парочку Столбов, пока не село солнце. Я вскочил, съехал по песчаному

склону в тень у подножия дюны и обернулся посмотреть на Столбы, стерегущие подступы к острову с севера. Тельца и головки, насаженные на сучковатые ветви, смотрелись вполне удовлетворительно. Ветерок приветственно колыхал черные ленточки, привязанные к веткам. Все обойдется, решил я; надо будет завтра вытянуть из Фабрики побольше.

Вдруг и отец что-нибудь расскажет, если повезет, а если уж очень повезет, то, может, он даже врать не будет.

Когда сгустилась тьма и на небе выступили первые звезды, я оставил мешок с дохлятиной в Бункере. Птицы подсказали мне, что Диггс уже несколько минут как ушел, так что я кратчайшим путем пробежал к дому, где, как обычно, горели все огни. Отец встретил меня на кухне.

— Только что был Диггс. Ты, наверно, в курсе.

Он сунул толстую недокуренную сигару под струю холодной воды и, когда та громко зашипела и потухла, бросил размокший окурок в мусорное ведро. Я пристроил свое хозяйство на большом столе, выдвинул стул и, пожав плечами, уселся. Отец включил газ под кастрюлей с супом, приподнял крышку, оценивающе глянул на варево и отвернулся от плиты.

Примерно на уровне плеча в кухне висело облако синевато-серого дыма с широкой прорехой, образовавшейся, видимо, когда я вошел через двойные двери заднего крыльца. Пока отец буравил меня взглядом, прореха успела затянуться. Я поерзал на стуле, потом опустил глаза и затеребил резинку черной рогатки. От меня не ускользнуло, что вид у отца обеспокоенный, но отец хороший актер, и не исключено, что он просто хотел внушить мне такое впечатление, и потому я воспринял это скептически.

— Пожалуй, тебе лучше узнать, — сказал он, снова отвернулся, взял деревянную ложку и помешал суп. — Речь об Эрике.

Тогда я понял, что случилось. Он мог не продолжать. По идее, можно было бы подумать, что мой сводный брат умер, или заболел, или с ним что-то произошло, — но наверняка Эрик опять что-нибудь натворил; а натворить он мог только одно, что обеспокоило бы отца до такой степени: он сбежал. Вслух я не сказал ничего.

— Эрик сбежал из больницы. Диггс заезжал предупредить. Они думают, он может направиться сюда. Убери это со стола, сколько можно говорить. — Он попробовал суп, по-прежнему стоя ко мне спиной. (Я дождался, когда он начнет оборачиваться, и только тогда убрал со стола рогатку, бинокль, саперную лопатку.) — Сомневаюсь, правда, чтобы он добрался так далеко, — продолжал отец тем же глухим тоном. — Наверно, через день-другой его поймают. Лучше, если ты будешь знать. Вдруг еще

кто-то услышит и что-нибудь скажет. Достань тарелку.

Я подошел к буфету, достал тарелку, вернулся к столу и сел, подогнув под себя ногу. Отец продолжал помешивать суп, запах которого начал пробиваться сквозь сигарный дым. В животе у меня вскипало возбуждение — щекочущий прилив безудержной радости. Значит, Эрик возвращается; это хорошо, но и плохо тоже. Я был уверен, что он доберется. У меня и мысли не возникало спросить об этом Фабрику; он будет здесь, и точка. Интересно, сколько времени займет у него дорога домой и не придется ли Диггсу обходить городок, оповещая всех о том, что помешанный парень, который жег собак, опять на воле — держите, мол, своих бобиков под замком!

Отец налил мне супа. Я подул на него и подумал о Жертвенных Столбах. Столбы — это моя система раннего оповещения и одновременно средство устрашения: мощные зараженные штуки, которые преграждают доступ на остров. Эти тотемы — мой предупредительный выстрел; если, увидев их, кто-то все же решится ступить на остров, он должен знать, что его ждет. Но, судя по всему, вместо угрожающе стиснутого кулака они предстанут радушно протянутой ладонью. Для Эрика.

— Я смотрю, ты опять помыл руки, — сказал отец, когда я хлебал горячий суп.

Это он язвил. Он достал из кухонного шкафа бутылку виски и плеснул себе в стакан. Второй стакан, из которого, судя по всему, пил констебль, он поставил в раковину и сел напротив меня.

Мой отец — высокий и худощавый, правда, немного сутулится. Лицо у него тонкое, как у женщины, глаза черные. Сейчас он хромот, да и всегда хромот на моей памяти. Его левая нога почти совсем не сгибается, и, уходя из дома, он обычно берет трость. Когда сыро, он вынужден и дома пользоваться тростью, глухой стук которой разносится по коридорам, не покрытым ковровой дорожкой. Только здесь, в кухне, трости не слышно — плитняк заглушает.

Эта трость — символ безопасности Фабрики. Благодаря негнущейся отцовской ноге моим святилищем стал чердак — теплое уютное пространство на самом верху дома, где складывают хлам и старье, где витает в косых солнечных лучах пыль и где обитает Фабрика; ни звука от нее, ни скрипа — но она живая.

Отец не может подняться туда по узкой лестнице с верхнего этажа; а если бы и мог, я знаю, что ему не одолеть поворота вокруг дымоходов. Прямо же с лестницы на чердак не попадешь.

Так что чердак мой.

По моим подсчетам, отцу сейчас где-то около сорока пяти, хотя иногда он выглядит гораздо старше, а иногда, может, и чуть моложе. Он не говорит мне, сколько ему лет, — но на вид я дал бы ему примерно сорок пять.

— Какой высоты этот стол? — спросил он вдруг, когда я направился к хлебнице отрезать кусок хлеба, чтобы потереть тарелку.

Я обернулся, недоумеваю, с чего это он пристаёт ко мне с такими элементарными вопросами.

— Тридцать дюймов, — ответил я, доставая хлебную корку.

— А вот и нет. — И он довольно ухмыльнулся. — Два фута шесть дюймов.

Я нахмурился и стал собирать коркой коричневую кайму от супа. Было время — я до дрожи боялся этих идиотских вопросов; но теперь — не говоря уж о том, что успел, наверно, вызубрить длину, ширину, высоту, площадь и объём каждой комнаты и всей домашней утвари, — я распознал истинную природу этого отцовского наваждения. Когда у нас гости, становится неловко, даже если это родственники, которым по идее должны быть известны все его фокусы. Бывает, сидят они себе в гостиной, гадая, чем папа сегодня угостит их на ужин: чем-нибудь съедобным или только импровизированной лекцией о ленточных червях или о раке толстой кишки, — а он придвинется бочком к кому-нибудь, обведет взглядом комнату, проверяя, все ли смотрят, и выдаст театральным шепотом:

— Видите вон ту дверь? В ней восемьдесят пять дюймов, от угла до угла.

А потом подмигнет и отправится куда шел или же как ни в чем не бывало развалится в кресле.

Сколько себя помню, по всему дому были расклеены ярлычки с аккуратными надписями черной шариковой ручкой. Прикрепленные к ножкам стульев, краям ковриков, донышкам кувшинов, радиоантеннам, телеэкранам, дверцам шкафов, спинкам кроватей, ручкам кастрюль и сковородок, они сообщали точные размеры того, на что наклеены. Даже цветочные листья не убереглись, правда, надписи были карандашными. Как-то в детстве я не поленился обойти весь дом и содрать все ярлычки до единого; меня отстегали ремнем и два дня не выпускали из моей комнаты. Позже папа решил, что для общего развития и для воспитания характера мне тоже будет полезно знать все эти размеры, поэтому я был вынужден часами просиживать над Книгой Размеров (толстым скоросшивателем, в точности фиксирующим данные всех ярлычков по местонахождению и категориям объектов) или ходить по дому с блокнотом и производить замеры самостоятельно. И все это в дополнение к нашим обычным

занятиям — математикой, историей и т. д. На игры времени почти не оставалось, чем я был крайне недоволен. Тогда у меня шла Война — Мидии против Дохлых Мух, если не путаю, — и пока я корпел в библиотеке над книгой, борясь со сном и зубря всю эту дурацкую систему мер и весов, ветер разносил мои мушиные армии по всему острову, а море, притопив мои ракушки, заносило их песком. К счастью, в скором времени отец охладел к этому грандиозному замыслу и довольствовался тем, что в любой момент мог с бухты-барахты поинтересоваться, какова, например, емкость подставки для зонтов (в пинтах) или общая площадь всех имеющихся в доме штор (в акрах).

— На эти вопросы я больше не отвечаю, — сказал я ему, ставя тарелку в раковину. — Давно бы пора перейти на метрическую систему.

Отец фыркнул в стакан, допивая виски:

— Гектары и прочая ахиня. Ни за что на свете. Там же все основано на измерениях земного шара. Я же сто раз тебе говорил — какой, к черту, шар!

Я вздохнул и взял яблоко из вазы на подоконнике. Однажды отец сумел внушить мне, что Земля — не шар, а лента Мебиуса. Он до сих пор утверждает, что верит в это, и периодически посылает лондонским издателям рукопись с изложением своей теории, устраивая из этого целый спектакль, но я-то знаю, что это он просто воду мутит и главное удовольствие получает, изображая потрясенное неверие, а затем благородное негодование, когда рукопись в итоге возвращается. И так примерно раз в квартал, без этого ритуала ему жизнь не в радость. По крайней мере, именно соображениями высокой теории он обосновывает нежелание переходить для своих дурацких измерений на метрическую систему, хотя на самом деле ему просто лень.

— Чем сегодня занимался? — спросил он, катая пустой стакан по деревянной столешнице.

— Да так, — пожал я плечами. — Гулял...

— Опять плотины строил? — глумливо оскалился он.

— Нет, — твердо ответил я и вгрызся в яблоко. — Сегодня нет.

— Надеюсь, хоть никого из тварей Божьих не убивал.

Я снова пожал плечами. Естественно, убивал, иначе-то как. Откуда еще я возьму черепа и тушки для Столбов и Бункера, если никого не убивать? Пали-то не напасешься, естественная убыль слишком низка. Впрочем, кому это объяснишь.

— Иногда мне кажется, что это тебя надо было упечь в больницу, а не Эрика.

Он смотрел на меня из-под насупленных бровей, голоса не повышал. Когда-то меня пугала такая манера разговора, но больше не пугает. Мне уже почти семнадцать, я не ребенок. По нашим, шотландским, законам я уже достаточно взрослый, чтобы жениться без согласия родителей, — уже год как. Допустим, жениться мне особого смысла нет, но тут важен принцип.

К тому же я не Эрик; я — это я, и я здесь, так что и говорить нечего. Я ни к кому не пристаю, вот и мне пусть никто не мешает, если голова на плечах есть. Я-то ничьих собак не поджигал и не пугаю местных карапузов горстями личинок или полным ртом червей. Иной раз, может, кто из горожан и скажет: «Да у него винтика не хватает». Ну шутят помаленьку (самые злостные шутники при этом даже пальцем у виска не крутят) — пусть себе зубоскалят, мне-то что. Я научился жить со своей инвалидностью, и научился жить один, так что от меня не убудет.

Видимо, отец хотел съязвить; в обычной ситуации он бы такого не сказал. Наверно, его взволновали новости об Эрике. Думаю, он знал, так же как и я, что Эрик вернется, и его беспокоило, что будет дальше. Я его не виню, к тому же не сомневаюсь, что он беспокоился и обо мне. Я олицетворяю собой преступление, и если Эрик вернется и начнет баламутить, то может всплыть Правда о Фрэнке.

Я нигде не зарегистрирован. У меня нет свидетельства о рождении, нет номера государственного страхования, нет ни одной бумажки, которая подтверждала бы, что я вообще существую. Я знаю, что это преступление, и отец тоже знает, и, думаю, иногда он сожалеет о решении, принятом семнадцать лет назад, во времена своего хиппизма-анархизма или чего там еще.

В общем-то, я не в обиде. Так мне даже нравится, да и нельзя сказать, чтобы мое образование хромало. Стандартной школьной программой я владею, может, еще и лучше, чем большинство моих сверстников. Единственное, на что я бы мог попенять отцу, так это на недостоверность кое-каких полученных от него сведений. Когда я подросток и мог самостоятельно выбираться в Портенейль и сидеть в библиотеке, отцу пришлось поумерить фантазию, но прежде он то и дело сбивал меня с толку, отвечая на мои искренние, пусть и наивные вопросы полной белибердой. Подумать только, я многие годы всерьез полагал, что Пафос — это один из трех мушкетеров, Феллацио — персонаж «Гамлета», Витриоль — город в Китае и что ирландские крестьяне давят ногами торф, когда делают «гиннес».

Как бы то ни было, сейчас я достаю до самых верхних полок в

домашней библиотеке и в любой момент могу заглянуть в портенейльскую и проверить, не пудрит ли отец мне мозги, так что он вынужден не пудрить. Кажется, это изрядно его раздражает, но ничего не попишешь. Прогресс, знаете ли.

Но я образован. Пусть не в отцовских силах было удержаться да не потешить свое недоразвитое чувство юмора, втюхав мне одну-другую «куклу», но в то же время он не мог допустить, чтобы его отпрыск не был для него предметом гордости хоть в чем-то; а так как о моем физическом развитии речь не могла идти по определению, то оставалось только умственное. Отсюда и все мои уроки. Отец — человек образованный, и он не только передал мне многое из того, что знал сам, но и освоил целый ряд новых дисциплин — исключительно в педагогических целях. Отец — доктор химии или, может, биохимии, не уверен. Он довольно хорошо ориентируется в традиционной медицине — возможно, не растерял старых связей, — и ему не стоило труда проследить за тем, чтобы мне вовремя были сделаны все необходимые прививки. Это при том, что Государственная служба здравоохранения о моем существовании даже не догадывается.

Видимо, отец работал в университете несколько лет после выпуска и, должно быть, что-то изобрел; время от времени он намекает, что получает отчисления, патентные или какие там, однако я подозреваю, что старый хиппарь по-тихому проживает остатки колдхеймовского состояния.

Как мне удалось выяснить, Колдхеймы жили в этой части Шотландии лет двести, если не больше, и владели довольно обширными земельными угодьями. Теперь остался только остров, да и тот крошечный, да и не совсем остров — когда отлив. Другой реликт славного прошлого — это название главного портенейльского значного места, старого занюханного кабака под вывеской «Колдхейм-армз», куда я периодически навещаюсь, хотя и не достиг еще совершеннолетия, поглядеть на местную молодежь, изображающую из себя панк-группы. Там-то я и повстречал и до сих пор встречаю единственного человека, которого могу назвать своим другом, — Джейми-карлика; чтобы ему было видно сцену, я сажаю его к себе на плечи.

— Сомневаюсь, чтобы он сюда добрался. Далековато все-таки. Наверняка его поймают, — повторил отец, выдержав долгую паузу. Он подошел к раковине ополоснуть стакан.

Я замурлыкал себе под нос какой-то мотивчик; я всегда так делаю, когда хочется улыбаться или смеяться, но лучше не стоит.

Отец посмотрел на меня:

— Я к себе в кабинет. Не забудь все запереть, хорошо?

— Будет сделано, — кивнул я.

— Спокойной ночи.

Отец вышел из кухни. Я сел и глянул на свою саперную лопатку по имени Верный Удар. Смахнул несколько приставших к лезвию сухих песчинок. Кабинет. Одно из моих немногих так и не реализованных заветных желаний — это проникнуть в кабинет старика. Подвал я хотя бы видел, бывал там несколько раз; мне знакомы все комнаты первого этажа и третьего; на чердаке я вообще царь и бог, там живет Осиная Фабрика; но эта единственная комната на втором этаже до сих пор остается для меня тайной за семью печатями, я даже туда ни разу не заглядывал.

Я знаю, что отец держит там какие-то химикаты и, вероятно, ставит опыты, но как там и что и чем он занимается на самом деле — понятия не имею. Оттуда лишь доносятся иногда странные запахи да стук отцовской трости.

Я провел ладонью по длинному черенку лопатки и подумал: интересно, называет ли отец свою трость каким-нибудь именем? Вряд ли. Он не придает именам особого значения. Но я знаю, что имена важны.

Наверно, кабинет скрывает какую-нибудь тайну. Отец и сам не раз на это намекал — туманно, конечно, лишь для того, чтобы меня раззадорить, чтобы я мучился догадками, чтобы он знал, что я хочу спросить. Разумеется, я не спрашиваю, поскольку внятного ответа все равно не получу. Если он что-нибудь и ответит, то наврет с три короба, потому что, если скажет правду, тайна перестанет быть тайной, а он, как и я, чувствует, что чем дальше, тем больше утрачивает влияние на меня, и ему это решительно не нравится. Я уже не ребенок. Только эти жалкие остатки фиктивной власти позволяют ему думать, будто он контролирует то, что считает должным отношением «отец — сын». Смех, да и только — но всеми этими играми, и секретиками, и колкостями он пытается сохранить статус-кво.

Я откинулся на спинку деревянного стула и потянулся. Люблю запах кухни. Еда, грязь на наших бахилах, а иногда и слабый запах пороха, просачивающийся из подвала, — стоило об этом подумать, и у меня зарождалось по-хорошему волнующее чувство. Когда идет дождь и наша одежда мокрая, то запах другой. Зимой большая черная печка гонит по комнатам тепло с ароматом сухого плавника или торфа, и все запотеваает, и по стеклу барабанит дождь. Тогда веет дремотой и покоем, и тебе уютно, как большому сонному коту, обвившемуся хвостом. Иногда мне жалко, что у нас нет кота. У меня был лишь кошачий череп, да и тот унесли чайки.

Из кухни я направился в туалет — похезать. Отливать нужды не было, потому что днем я пометил Столбы, передавая им свой запах, свою силу.

Я сидел на стульчаке и думал об Эрике, с которым произошла такая неприятная история. Бедный психопат. Уже в который раз я задавался вопросом, что стало бы со мной на его месте. Но история-то произошла не со мной. Я остался тут, а Эрик уехал, и все это случилось где-то там, вот и весь разговор. Я — это я, и тут — это тут.

Я напряг слух, пытаюсь понять, чем занят отец. Может, он сразу отправился спать. Он часто спит в кабинете, предпочитая его большой спальне на третьем этаже, где и моя спальня. Может быть, та комната будит в нем слишком много неприятных (или приятных) воспоминаний. Как бы то ни было, храпа я не слышал.

Противно, что в туалете мне все время приходится сидеть. Я понимаю, что это из-за моей инвалидности я вынужден раскорячиваться на стульчаке, как баба, но все равно противно. Иногда в «Колдхеймармз» я пристраиваюсь к писсуару, но почти все попадает мне на руки или на ноги.

Я натужился. Чвяк, плюх. Брызги фонтаном обдали мою голую задницу, и тут зазвонил телефон.

— Вот дерьмо! — выругался я и сам же хохотнул.

Быстро подтерся, подтянул штаны, дернул цепочку слива и вывалился в коридор, по пути застегивая ширинку. Скатился по широким ступеням к площадке второго этажа, где стоит наш единственный телефон. Я все время пристаю к отцу, чтобы установил хотя бы еще один аппарат, но он говорит, мол, нам не настолько часто звонят, чтобы возиться с отводной трубкой. К телефону я успел. Отец так и не вышел.

— Алло, — сказал я. Звонили из автомата.

— Тр-р-р! — громко проверещало на том конце провода.

Я отдернул трубку от уха и сердито на нее посмотрел. В наушнике продолжало верещать.

— Портенейль пятьсот тридцать один, — сухо проговорил я, когда шум наконец стих.

— Фрэнк! Фрэнк! Это я. Я! Алло, ты меня слышишь? Алло!

— Это эхо на линии или ты все произносишь дважды? — спросил я. Я узнал голос Эрика.

— И то и другое! Ха-ха-ха-ха-ха!

— Здравствуй, Эрик. Ты где?

— Здесь! А ты где?

— Здесь.

— Если мы оба здесь, на черта тогда телефон?

— Говори скорее, где ты, пока монеты не кончились.

— Но если ты сам здесь, ты должен знать. Или ты не знаешь, где ты? — И он захихикал.

— Эрик, не валяй дурака, — сказал я строго.

— А я и не валяю. Не скажу я тебе, где я. Ты скажешь Ангусу, он скажет полиции, и меня опять засунут в эту хуеву больницу.

— Не матерись. Ты же знаешь — я не люблю слов из трех букв. А отцу я ничего не скажу.

— «Хуеву» — это не три буквы. Это... это слово из пяти букв. Разве пятерка не твое счастливое число?

— Нет. Так ты скажешь, где ты? Мне надо это знать.

— Я скажу тебе, где я, если ты назовешь мне твое счастливое число.

— Мое счастливое число — «е».

— Это не число. Это буква.

— Нет, число. Трансцендентное число: две целых, запятая, семь один восемь...

— Не мухлой. Я имел в виду целое число.

— Так бы сразу и сказал, — ответил я и вздохнул: в трубке послышался писк; наконец Эрик кинул еще несколько монет. — Давай лучше я тебе перезвоню?

— Нетушки. Нашел дурака! Сам-то ты как вообще?

— Нормально. А ты?

— Разумеется аномально, — с негодованием ответил он; я не мог не улыбнуться.

— Ладно, как я понимаю, ты направляешься сюда. Только ты уж тогда, пожалуйста, не жги больше собак, и вообще...

— О чем ты? Это же я, Эрик. Не жгу я никаких собак! — выкрикнул он. — Сдались мне эти чертовы собаки! За кого ты меня принимаешь, ублюдок недоделанный? И хватит обвинять меня в том, что я жгу каких-то собак! Ублюдок!

— Хорошо, Эрик, прости, прости, пожалуйста, — затараторил я. — Я только хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Будь осторожен. Не делай ничего такого, что может восстановить против тебя людей, ладно? Люди такие обидчивые...

— Да уж, — услышал я, и трубку заполнило его дыхание. Потом тон Эрика изменился: — Я и правда возвращаюсь домой. Совсем ненадолго, просто вас проведать. Надеюсь, вы там со стариком одни?

— Одни, одни... Так хочется поскорее тебя увидеть.

— Это хорошо. — Повисла пауза. — Что же ты ни разу не приехал

меня навестить?

— Я... Да тут вроде отец собирался к тебе на Рождество.

— Отец? Да что отец... Ты-то почему не приедешь?

В его голосе слышалась обида. Я переступил с ноги на ногу, обвел взглядом лестничную площадку и ступеньки, рассчитывая увидеть лицо отца над перилами или его тень на стене следующей площадки, где он прятался и подслушивал мои телефонные разговоры, думая, что я ничего не замечаю.

— Эрик, я не люблю надолго уезжать с острова. Прости, пожалуйста, но у меня сразу появляется в животе это кошмарное ощущение, словно кишки узлом завязываются. Не могу я далеко уезжать, по крайней мере так сразу или... Не могу, и все. Я хочу тебя увидеть, но ты так далеко.

— Уже ближе, — ответил он твердо.

— Это хорошо. Сколько тебе еще примерно?

— Не скажу.

— Я же назвал тебе мое счастливое число.

— А я соврал. Я все равно не скажу тебе, где я.

— Это не...

— Все, я вешаю трубку.

— С папой не хочешь поговорить?

— Сейчас — нет. Я потом с ним поговорю, когда буду совсем близко. Все, я пошел. До встречи. Береги себя.

— Ты тоже береги себя.

— Да ну, чего мне беспокоиться? Все будет в ажуре. Да и что со мной может случиться?

— Просто не делай ничего такого, что может рассердить людей, хорошо? Сам знаешь, о чем я. Они так легко выходят из себя. Особенно из-за домашних животных. То есть я не...

— Чего-чего?! Что ты там сказал насчет домашних животных? — завопил он.

— Ничего! Просто я...

— Вот гаденыш! — выкрикнул он. — Опять вздумал обвинять меня в том, что я собак жгу? Может, скажешь, я еще и рты малышам червями набиваю? Может, и ссу на них заодно? — вопил он.

— Ну, — теребя провод от трубки, мягко начал я, — раз уж ты сам об этом...

— Ублюдок! Ублюдок!!! Поганец маленький! Я тебя убью! Ты...

Голос его пропал, и мне снова пришлось отдернуть трубку от уха, когда Эрик замолотил своей трубкой по стенам будки. На грохот наложился

мерный писк — время истекало. Я дал отбой.

Я посмотрел вверх, но отец так и не появился. На цыпочках поднявшись по лестнице, я просунул голову между балясинами перил, но верхняя площадка была пуста. Я со вздохом опустился на ступеньку. У меня было такое чувство, что разговор я провел не лучшим образом. С людьми у меня вообще проблемы, и хотя Эрик мой брат, я не видел его уже больше двух лет, с тех самых пор, как он спятил.

Я встал и спустился на кухню задвинуть засовы и забрать свое хозяйство, потом пошел в ванную. Решил посмотреть у себя в комнате телевизор или послушать радио и лечь спать пораньше, чтобы встать с рассветом и поймать осу для Фабрики.

Я лежал на кровати и слушал по радио Джона Пила,^[1] а также вой ветра за домом и шум прибоя на берегу. Из-под кровати доносился дрожжевой запах моего самодельного пива.

Я снова подумал о Жертвенных Столбах — на этот раз более сосредоточенно, представляя, где каждый стоит и что несет, мысленно глядя сквозь пустые глазницы черепов на один пейзаж за другим, словно охранник у пульта с экраном, переключающийся с камеры на камеру. Все было на месте, все в порядке. Мои мертвые часовые, мои продолжения, подпавшие под мою власть в результате элементарной, но абсолютной капитуляции — смерти, — не ощущали ничего, что могло бы повредить мне или острову.

Я открыл глаза и снова включил ночник. Посмотрел на себя в зеркало туалетного столика у противоположной стены. Я лежал на покрывале в одних трусах.

Я слишком толстый. Не так чтобы смертельно толстый, да и вообще моей вины в этом нет, — но все равно я выгляжу не так, как хотелось бы. Мордастый я очень, вот в чем беда. Сильный и крепкий, но все равно слишком пухлый. А я хотел выглядеть суровым и грозным — каким бы я и выглядел, кабы не мой несчастный случай. А так ведь по мне и не скажешь, что я убил трех человек. Это нечестно.

Я снова выключил свет. Пока глаза не привыкли к сумраку, в комнате стояла кромешная тьма, даже звезды не мерцали. Надо бы попросить отца купить часы с жидкокристаллическим дисплеем, хотя мне очень нравится мой старый медный будильник. Однажды я привязал осу к медно-красным колокольчикам на корпусе будильника, где по ним бьет молоточек, когда будильник звонит.

Я всегда просыпаюсь до будильника, так что приходится смотреть.

Обугленный трупик осы я положил в спичечный коробок, обернув его старой фотографией Эрика с отцом. На снимке отец держал большой фотопортрет своей первой жены, матери Эрика, и только она улыбалась. Отец угрюмо пялился в камеру. Маленький Эрик смотрел в сторону и со скучающим видом ковырял в носу.

Утро выдалось прохладное и свежее. Лесистые предгорья были подернуты дымкой, над Северным морем стоял туман. Я резво бежал вдоль берега, изображая рев реактивного двигателя и крепко прижимая к бокам бинокль и вещмешок. Влажный песок приятно пружинил под ногами. Поравнявшись с Бункером, я сделал вираж от берега и, добежав до полосы мягкого белого песка, сбросил скорость. На бреющем полете я исследовал Дары Моря, но не нашел ничего достойного, разве что старую медузу — лиловый студень с четырьмя расплывчатыми беловатыми кольцами. Я слегка изменил курс, чтобы пролететь над ней, и со звуком «Тр-р-р-фью! Тр-р-р-фью!» поддал ее ногой, взметнув фонтан песка и студня. «Ды-дых!» — бабахнул взрыв. Я снова заложил вираж и устремился к Бункеру.

Столбы оказались в полной исправности. За мешком с тушками и головами можно было не ходить. Я проверил все до единого и похоронил осу в ее бумажном гробике не между двумя самыми важными Столбами, как планировал, а прямо на тропинке, перед самым мостом. Заодно взобрался по несущим тросам на верхушку дальней опоры и оглядел окрестность. Мне был виден венец крыши дома и одно из чердачных окон. По другую сторону — шпиль пресвитерианской церкви в Портенейле и дым городских труб. Я достал из левого нагрудного кармана складной ножик, аккуратно ткнул подушечку большого пальца на левой руке, размазал красную каплю на перекладине между двутаврами и заклеил палец пластырем из вещмешка. Потом спустился и отыскал шарик от подшипника, которым накануне попал в табличку.

Первая миссис Колдхейм, Мэри, мать Эрика, умерла в доме при родах. Эрик оказался слишком головастым, остановить кровотечение не смогли, и Мэри скончалась на супружеском ложе от потери крови. Было это в 1960 году. Всю жизнь Эрик страдал жуткими мигренями, и я склонен объяснять это недомогание обстоятельствами появления Эрика на свет. Подозреваю, что и эти его мигрени, и смерть матери имеют самое прямое отношение к

Тому, Что Случилось с Эриком. Бедолага — он просто оказался в неудачное время в неудачном месте, и произошло нечто в высшей степени невероятное, что по чистой случайности отразилось на нем куда сильнее, чем отразилось бы на любом другом в подобной ситуации. Вот чем вы рискуете, покидая остров.

Выходит, на счету у Эрика тоже есть смерть. Я-то думал, что я единственный убийца в семье, но старина Эрик меня обскакал — угробил собственную мать, да еще прежде, чем появился на свет. Согласен, убийство непреднамеренное — но иногда поступки красноречивее намерений.

Фабрика сказала что-то насчет огня.

Я все думал, к чему бы это, что бы это значило на самом деле. Очевидное толкование — что Эрик подожжет еще собаку-другую, но я слишком давно имею дело с Фабрикой, чтобы этим удовлетвориться; боюсь, тут все гораздо сложнее.

Я даже отчасти жалел, что Эрик возвращается. У меня были планы устроить в ближайшее время Войну, может даже на следующей неделе; но раз уж Эрик возвращается, то я решил повременить. Давненько у нас не было хорошей Войны; последнюю я устраивал между Обыкновенными Солдатиками и Аэрозолями. По тому сценарию все армии солдатиков масштаба 1/72, укомплектованные танками, пушками, тягачами, вертолетами и кораблями, должны были объединиться, чтобы отразить Вторжение Аэрозолей. Аэрозоли наступали широким фронтом, оставляя за собой выжженную землю, направо и налево плавя солдатиков со всей их техникой, но потом один храбрый солдатик прицепился к Аэрозолю, летевшему на базу, и (после множества приключений) вернулся с донесением, что база Аэрозолей — это кухонная доска, расположенная у берега бухты под каменным выступом. В итоге сводный отряд командос разнес базу вдребезги и пополам, а напоследок взорвал каменный выступ и обрушил его на дымящиеся обломки. Хорошая была Война, со всеми полагающимися атрибутами, да и развязка эффектней, чем обычно (когда я вечером пришел домой, то папа даже поинтересовался, что там у меня за взрывы грохотали целый день), — но это дело давнее.

Во всяком случае, раз уж Эрик направляется к дому, то вряд ли имеет смысл затевать новую Войну только для того, чтобы в разгар боевых действий все бросить и вернуться в реальный мир. Я решил отложить сражение до лучших времен. А пока — помазал драгоценными веществами несколько Столбов, из самых важных. И занялся строительством плотины.

Когда я был младше, то много фантазировал, как спасу наш дом при помощи плотины. Скажем, займется трава на дюнах от непотушенного костра или, может, самолет упадет, и тогда единственное, что спасет порох в подвале от неминуемого взрыва, — это поток воды, которую я отведу в дом по каналу, специально прокопанному от плотины. Когда-то у меня была заветная мечта упросить отца купить экскаватор, чтобы с его помощью выстроить настоящую плотину. Но с тех пор я успел выработать куда более изощренный, если не сказать метафизический, подход к гидротехническому строительству. Теперь я понимаю, что против воды не устоишь; вода в любом случае возьмет верх — не подмывом, так просачиванием, в час по чайной ложке. Единственное, что можно сделать, — это на какое-то время преградить ей путь, отвести в сторону, ненадолго принудить ее к тому, чего она совсем не хочет. Все удовольствие — в утонченности компромисса между тем, куда вода желает течь сама (под влиянием силы тяжести и рельефа местности), и тем, чего хотите от нее вы.

Если подумать, мало какие радости жизни сравнятся со строительством плотины. Дайте мне просторный берег с нормальным откосом, без лишних водорослей, да речку пошире — и я буду без ума от счастья целый день, при любом раскладе.

К тому времени солнце было уже высоко и припекало изрядно, так что я снял куртку и положил рядом с вещмешком и биноклем. Верный Удар рубил и резал, кромсал и отбрасывал грунт, возводя огромную плотину с тройным напорным перекрытием, главная секция которой подпирала воду Северного ручья на восемьдесят шагов, что почти полностью соответствовало проекту. В качестве переливного устройства я использовал привычный отрезок железной трубы, который храню в дюнах рядом с лучшим местом для устройства запруды, но самое главное — это акведук, найденный в свое время среди плавника и высланный старым мусорным мешком из черного пластика. По акведуку водослив шел над тремя участками отводного канала, прорытого за плотиной. Ниже по течению я выстроил деревню — с домами, дорогами, с мостом через то, что некогда было ручьем, и даже с церквушкой.

Прорвать большую крепкую плотину или устроить водосброс — удовольствие ничуть не меньшее, чем конструировать ее или строить. В роли деревенских жителей у меня, как обычно, выступали ракушки. И, как обычно, когда плотину прорвало, ни одна ракушка не уцелела: все утонули, то есть погибли все.

Я успел жутко проголодаться, мышцы гудели, ладони устали

стискивать лопату и рыть песок по-собачьи. Проводив взглядом первый устремившийся к морю мутный поток, я двинулся домой.

— Мне слышалось или ты и впрямь вчера вечером говорил по телефону? — спросил папа.

— Слышалось, — ответил я.

Ленч подходил к концу; я доедал свое рагу, папа — шелушенный рис и салат из морской капусты. На отце было Городское Платье: коричневые башмаки, коричневый твидовый костюм-тройка, а на кухонном столе валялась коричневая кепка. Я справился по часам и увидел, что сегодня четверг. Странно, по четвергам он обычно не выезжает — ни в Портенейль, никуда. Спрашивать у него, куда он собрался, я и не думал, все равно совет. Раньше, когда я спрашивал, он неизменно отвечал: «На Блядки», — утверждая, что есть такой островок к северу от Инвернесса. Что это значит, я выяснил лишь спустя многие годы, и поэтому неудивительно, что в городе на меня посматривали престранно.

— Сегодня меня не будет, — неразборчиво сообщил он, отправив в рот ложку риса. Я кивнул, и он добавил: — Вернусь поздно.

Может, он собирался в Портенейль — напиться в «Рок-отеле» — или в Инвернесс, куда он часто навещался по своим загадочным делам (подозреваю, это было как-то связано с Эриком).

— Ладно, — отозвался я.

— Я возьму ключ, так что можешь запирайтесь, когда хочешь. — Он бросил нож и вилку на пустую тарелку, те громко звякнули, и вытер рот коричневой салфеткой из вторсырья. — Только засовы все не задвигай, ладно?

— Ладно.

— На ужин сам что-нибудь сообрази, хорошо?

Я снова кивнул, не отрывая взгляда от тарелки.

— И посуду помой.

Я снова кивнул.

— Не думаю, чтобы Диггс опять приехал. Но если приедет — постарайся особо не маячить.

— Постараюсь, — ответил я и вздохнул.

— Значит, можно не волноваться? — вставая, спросил он.

— Мм... угу, — промычал я, подбирая остатки рагу.

— Ну я пошел.

Я поднял голову как раз в тот момент, когда отец, уже в кепке, напоследок окидывал взглядом кухню, похлопывая себя по карманам. Он

снова посмотрел на меня и кивнул.

— Счастливо, — сказал я.

— Ага, — ответил он. — Именно так.

— До скорого.

— Ага.

Он повернулся, но замер и снова окинул взглядом кухню, потом еще раз кивнул и, достав трость из угла за стиральной машиной, пошел к выходу. Хлопнула дверь, и стало тихо. Я с облегчением вздохнул.

Выждав минуту-другую, я поднялся из-за стола, оставив почти пустую тарелку, и проследовал через весь дом в гостиную, откуда была видна тропинка между дюнами, ведущая к мосту. Отец шел слегка ссутулившись; вот он снес тростью головки нескольких полевых цветов, и в его движениях чувствовалась какая-то нервозность.

Я взбежал наверх, выглянул в окошко на черной лестнице, дождался, когда отец скроется за поворотом тропинки перед мостом, одолел еще один пролет, метнулся к двери отцовского кабинета и крутанул ручку. Дверь была как влитая — не подалась ни на миллиметр. Пусть не сегодня, но когда-нибудь он все равно забудет ее запереть.

Доев рагу и помыв посуду, я зашел в свою комнату, глянул, как там поспевает мое пиво, и достал духовое ружье. Проверил, достаточно ли пулек в карманах куртки, и отправился на Кроличьи Угодья, что за мостом, между широкой протокой и городской свалкой.

Духовым ружьем я стараюсь пользоваться поменьше, слишком уж у него точный бой. Рогатка — вещь более Внутренняя, с ней нужно слиться. Если неважно себя чувствуешь, обязательно промажешь, и если чувствуешь, что делаешь что-нибудь не то, — тоже промажешь. А вот с ружьем — если стреляешь не от бедра, — это все Внешнее: навел, выстрелил, и все дела, если, конечно, прицел не сбился или ветер не слишком сильный. Стоит взвести курок, и энергия тут как тут, ждет не дождется, чтобы ты спустил собачку. Рогатка же с тобой до последнего мига; она вторит твоим движениям, дышит с тобой одним дыханием, напряжена в твоих руках, готова забиться, готова запеть, содрогнуться и замереть, оставив тебя в этой драматической позе, с раскинутыми руками, пока ты ждешь завершения параболы, поражения цели, восхитительно глухого стука.

Но когда бьешь кроликов, особенно эту хитрую мелкую сволочь на Угодьях, то грех отказываться от лишней помощи. Один выстрел — и они уже врассыпную по норам. Конечно, ружейный грохот пугает их ничуть не

меньше, но при всей своей хирургической бездушности духовушка повышает шансы поразить цель с одного выстрела.

Насколько я знаю, ни один из моих невезучих родственников не погиб от пули. Вещи с ними приключались самые странные, с Колдхеймами и их сужеными-нареченными, но, по моим сведениям, огнестрельное оружие не отправило в могилу никого из них.

Я дошел до конца моста, где, строго говоря, проходит граница моей территории, и на несколько секунд замер, думая, впитывая, слушая, вглядываясь и внюхиваясь. Вроде все было нормально.

Помимо тех, кого убил я (а в соответствующий момент они все были примерно моего возраста), я могу назвать по меньшей мере трех членов нашего семейства, отбывших на встречу, как они, вероятно, считали, со своим Создателем весьма необычным образом. Левит Колдхейм, старший брат моего отца, эмигрировал в Южную Африку и в 1954 году купил там ферму. Левит, человек столь чудовищно глупый, что на его фоне какой-нибудь старый маразматик покажется натуральным гением, уехал из Шотландии по той простой причине, что консерваторы не отменили социалистические реформы предыдущего, лейбористского, правительства: железные дороги, понимаете ли, так и остались национализированными, рабочий класс плодился напропалую, так как государственное медицинское страхование свело на нет естественный отсев, шахты, опять же, национализированы... словом, невыносимо. Я читал некоторые из его писем отцу. В ЮАР Левиту нравилось, хотя черных было и многовато. В первых письмах он именовал политику расовой изоляции «апарте-ад», пока его, должно быть, кто-то не просветил. Но уж всяко не папа.

Однажды в Йоханнесбурге Левит шагал себе по тротуару с полными сумками покупок и как раз проходил мимо полицейского управления, когда какойто негритос, одержимый манией убийства, выпрыгнул в беспамятстве с верхнего этажа и, пока летел, очевидно, выдрал себе все ногти. Приземлился он в точности на моего бедного, ни в чем не повинного дядю, который был доставлен в больницу с множественными повреждениями внутренних органов, не говоря уж о переломах. Прежде чем впасть в кому, из которой он уже не вышел, дядя успел прошептать: «В рот компот, ниггеры летать научились...»

Впереди над городской свалкой вился легкий дымок. Так далеко выбираться я не планировал, но меня привлек рев невидимого бульдозера, который разравнивал горы мусора.

Давно я не был на свалке, пора бы проверить, что там навывбрасывали славные портенейльцы. Именно на свалке я и разжился всеми этими

старыми аэрозольными баллончиками для последней Войны, не говоря уж о некоторых существенных деталях Осиной Фабрики, включая Циферблат.

Мой дядя по материнской линии Ательвальд Трэпли эмигрировал в конце Второй мировой в Америку. Ради какой-то бабы он бросил хорошую работу в страховой компании и в итоге оказался с разбитым сердцем и без гроша в кармане на дешевой трейлерной стоянке у Форт-Уорта, где и решил свести счеты с жизнью.

Он включил, не зажигая, газовую плиту и колонку и уселся ждать конца. Неудивительно, что он слегка мандражировал и поэтому машинально прибегнул к наиболее привычному средству успокоить нервы — закурил «Мальборо».

Объятый пламенем, он с диким воплем выскочил из пылающего трейлера. Он-то рассчитывал на безболезненную смерть — гореть заживо в его планы не входило. Так что он сиганул в стоявший рядом двухсотлитровый бак из-под бензина, полный дождевой воды. Где и захлебнулся, суча ножками и тщетно пытаясь выпростать руки, чтобы ухватиться за края бака.

Метрах в двадцати от густо заросшего травой холма, с которого открывается вид на Кроличьи Угодья, я перешел на Бесшумный Бег, стараясь не шуршать травой и тщательно придерживая снаряжение, чтобы ничто не звякнуло. Я рассчитывал застать этих негодников засветло — но при необходимости готов был ждать до захода солнца.

Я пополз вверх по склону, осторожно приминая траву, слаженно работая ногами. Находился я, конечно же, с подветренной стороны, и ветер был достаточно сильным, чтобы заглушить большинство случайных шумов. Кроличьих часовых пока не видно. Метра за два до вершины я остановился, переломил ружье, тщательно осмотрел композитную пластиково-стальную пульку, прежде чем зарядить, и тихо защелкнул ружье. Зажмурившись, я сосредоточился на образе взведенной пружины и крошечной пульки на самом дне блестящего канала ствола, в витках нарезов. Прополз остающиеся метры.

Сначала я подумал, что придется ждать. В послеполуденном свете Угодья казались пустыми, только ветер шевелил траву. Я видел темные дырки нор, и разбросанный помет, и заросли можжевельника на противоположном склоне над берегом, где нор было больше всего и где кроличьи тропы змеились между кустов извилистыми тоннелями, — но сами зверьки как в воду канули. Раньше на этих тропах местные мальчишки ставили силки. Я видел, как они это делали, и когда находил проволочные петли, то либо выкидывал их, либо устанавливал на тех

самых тропинках, по которым мальчишки возвращались проверить ловушки. Не знаю, угодил кто из них в собственный силок или нет, но хотелось бы думать, что нос себе он расквасил. Как бы то ни было, сейчас мальчишки силков не ставят, — наверно, это вышло из моды, и теперь они малюют на стенах лозунги, нюхают клей или охмуряют девиц.

Животные редко меня удивляют, но когда я заметил этого самца, то невольно замер. Не иначе как он сидел там с самого начала и, не шелохнувшись, глядел на меня в упор с ровного участка на дальнем краю Угодий. Когда же я наконец увидел этого зверя, его неподвижность настолько меня поразила, что я и сам окаменел. Не совершая никаких телодвижений, я пораскинул мозгами и решил, что голова большого самца прекрасно подойдет для одного из Столбов. Глаза его — остекленелые, как у чучела, — смотрели прямо на меня, пуговка носа не двигалась, уши замерли как влитые. Не отрывая взгляда, я медленно навел ружье — сперва чуть вправо, затем чуть влево, чтобы казалось, будто это ветка, колеблемая ветром в траве. Примерно через минуту ружье смотрело точно в цель, и я, как полагается, прижался щекой к ложу, а кролик тем временем не сдвинулся ни на миллиметр.

В четырехкратном увеличении его усатая морда, крест-накрест рассеченная нитями оптического прицела, смотрелась еще более впечатляюще — но была так же неподвижна. Я нахмурился и вскинул голову, меня осенила мысль: а вдруг это действительно чучело? Вдруг кто-нибудь решил надо мной поиздеваться? Мальчишки из города? Папа? Для Эрика-то всяко еще рано? Ну вот, зря я мельтешил — кролик сорвался с места. Я резко пригнул голову и в ту же секунду машинально вскинул ружье. Заново прицеливаться, задерживать дыхание и плавно спускать собачку времени не было — вскинул, и выстрелил, и, не удержав равновесия, кувырнулся вперед, и вздернул ружье над головой, чтобы ствол не забился песком.

Когда я приподнялся в песке, перевел дыхание и поудобнее перехватил ружье, кролика и след простыл.

— Вот черт! — сплюнул я, хлопнув себя по колену.

Но кролик не скрылся в норе, не дернул к откосу. Его там и близко не было. Стремительными прыжками он несея прямо на меня, и казалось, что все его тело вибрирует, контур слегка размывается. Он летел как пуля и тряс головой, оскалив длинные желтые резцы, — в жизни не видел у кролика таких больших резцов, ни у живого, ни тушкой, ни чучелом. В глазах — словно по свернувшемуся слизню. При каждом прыжке с задней левой ноги алой дугой срывались капельки крови; еще мгновение — и он

будет здесь, а я сижу разинув рот.

Времени перезаряжать не было. Когда я наконец вышел из ступора, времени не было уже ни на что, работали одни инстинкты. Выронив ружье, мои руки потянулись к рогатке, которая, как и всегда, была заткнута за пояс. Впрочем, даже при такой быстрой реакции до шариков все равно не добраться: через полсекунды кролик уже налетел на меня, метя в горло.

Я преградил ему путь рогаткой, захлестнул за шею черной трубчатой резиной и, раскинув руки, повалился на спину; кролик просвистел над моей головой, я же рывком перевалился на живот и уставился на зверюгу глаза в глаза — тот распростерся на склоне и рыл песок как заведенный, клацал зубами, словно росوماха, и вертел головой, пытаясь дотянуться то до левой моей руки, то до правой. Я угрожающе зашипел на него и натянул резинку потуже, потом еще туже. Кролик фыркал, извивался, барабанил задними лапами по земле — и вдруг завыл на высокой пронзительной ноте; я и не думал, что кролики так умеют. Я даже слегка струхнул и стал лихорадочно оглядываться: а вдруг это сигнал и сейчас из-за кустов выскочит целая армия таких же доберман-кроликов, атакует меня с тыла, исполосует длинными желтыми резцами?

Подлюга ни в какую не хотел умирать! Резинка затягивалась и затягивалась, и все равно недостаточно туго, а перехватить поближе я не мог, боялся, что чертов зверь вцепится мне в палец, а то и нос откусит. Из тех же соображений я не решался оглушить его ударом головы — не хватало еще, чтобы я добровольно подставил лицо под эти ужасные резцы. Вскинуть колено и переломить ему хребет я тоже не мог: и без того я с трудом удерживал равновесие на скользком склоне, а вздумай балансировать на одной ноге — непременно сверзился бы. Просто бред какойто! Это же не Африка! Это кролик, а не лев! Что, собственно, происходит?

В итоге он меня все-таки укусил, выгнув шею сильнее, чем это мне представлялось возможным, цапнул за указательный палец на правой руке, аккуратно в костяшку.

Это оказалось последней каплей. С диким воплем я что было сил рванул резинку, вытянув на всю длину руки, запрокинув голову и кубарем покотившись назад; при этом я ударился коленом о приклад полузасыпанной песком винтовки.

Лежа в низкорослой траве у подножия холма, я душил кролика черной резиной — у меня даже костяшки пальцев побелели от натуги. Морда его болталась на уровне моего лица, меня тоже трясло, так что не знаю, чьи это были конвульсии — его или мои. Потом резинка лопнула. Кролик

шмякнулся мне в левое запястье, а обрывок резинки стеганул по правому; руки мои раскинуло в стороны, и они больно ударились о землю.

Я лежал на спине, под щекой у меня хрустел песок; я смотрел на кролика, за которым извилистым черным следом тянулась резинка, запутавшаяся в железной рамке рогатки. Кролик был недвижим.

Я поднял глаза к небу и, сжав левую руку в кулак, замолотил ею по земле. Снова перевел взгляд на кролика, затем, встав на колени, склонился над ним и вгляделся повнимательней. Точно, дохлятина. Голова болтается, шея сломана. На левой задней лапе запеклась кровь от моей пульки. Здоровенный кролик, с целого кота размером; в жизни таких огромных не видел. Слишком давно я не наведывался к кроликам, иначе наверняка заметил бы такого зверюгу.

Я пососал ранку на пальце. Моя рогатка, гордость и радость моя, Черная Смерть, сама погибла, и все из-за кого — из-за кролика! Да нет, резинку можно и новую, конечно, найти или попросить старика Камерона порыться в скобяной лавке — но это же совсем не то. Потом, наводя новую рогатку на цель (живую или нет), я каждый раз буду вспоминать этот момент — Конец Черной Смерти.

Я встал, отыскал присыпанное песком ружье, поднялся на вершину холма, огляделся и решил рискнуть — оставлю все как есть. Прижав ружье к груди, я на Критической Скорости припустил к дому, уповая на удачу и адреналин, а то не хотелось бы оступить и рухнуть на траву, ловя ртом воздух, с открытым переломом бедренной кости. На резких поворотах я балансировал ружьем, но вообще-то земля и трава были сухие, так что еще ничего. Свернув с найденной тропинки, я взбежал на дюну и скатился по дальнему склону, где выходит из песка и пересекает ручей ведущий к дому бетонный кожух с электрическими кабелями и водопроводными трубами. Перелетев через шипы ограждения, я приземлился обеими ногами на бетон, с трудом удержав равновесие, и через несколько секунд уже спрыгнул на остров.

Добежав до дома, вернее, до моего сарая, я оставил ружье, проверил содержимое Вещмешка, перекинул лямку наискось через плечо и быстро завязал тесемки пояса. Снова запер сарай и легкой трусцой направился к мосту, восстанавливая дыхание. Миновав калитку посередине моста, я рванул, как спринтер.

На Кроличьих Угодьях все оставалось по-прежнему — задушенный кролик, изувеченная рогатка, взрытый песок. Все так же колыхались на ветру трава и цветы — и никакого оживления в животном мире; даже чайки еще не заметили падаль.

Для начала я достал бомбу, изготовленную из двадцатисантиметрового отрезка железной трубы. Разрезал кролику задний проход. Проверил исправность бомбы, убедился, что белые кристаллики взрывчатой смеси не отсырели, вставил в специально просверленное отверстие пластиковую трубочку-запал, сыпанул немного взрывчатки и заклеил изолентой. Всю конструкцию я засунул внутрь еще не остывшего кролика и худо-бедно усадил его мордой к откосу, к норам. Потом достал из Вещмешка несколько бомбочек поменьше и распикировал их по норам, притоптав каблуком мягкую землю, так чтобы наружу торчали только запалы. Наполнил пластиковую бутылку из-под моющего средства, изготовил к стрельбе спиртовую горелку, оставил всю конструкцию на откосе над норами, потом вернулся к первой заблокированной норе и поджег зажигалкой запал. В ноздрях засвербило от вони горящего пластика, в глазах заплясали яркие искры вспыхнувшей горючей смеси, а я метнулся к следующей норе, бросив взгляд на часы. За сорок секунд я поджег запалы всех шести бомбочек.

Я сидел на откосе над норами; пламя горелки Огнемета казалось в солнечном свете почти прозрачным, и через минуту с небольшим ухнул первый взрыв. Я ощутил вибрацию земли и ухмыльнулся. С небольшим интервалом сработали остальные бомбочки; прежде чем сдетонирует основной заряд, у входа в нору вскипал фонтанчик земли, запал выстреливал дымное облачко. Землю разбросало по всем Угодьям, воздух дрожал от взрывов, и я улыбнулся. На самом деле шума было очень мало. Дома, скажем, никто ничего не услышал бы. Почти вся энергия взрыва уходила на выбрасывание земли наружу, на то, чтобы загнать воздух внутрь.

Вылезли первые оглушенные кролики, двое; у них шла носом кровь, не более того, но они спотыкались на каждом шагу, чуть не падали. Я сжал пластиковую бутылку, брызнул струей бензина, а в нескольких сантиметрах перед горлышком держалась спиртовая горелка на дюралевом палатном колышке. Бензин с ревом прорезал воздух, накрыл кроликов огненной пеленой. Те с треском занялись, метнулись было выписывать по Угодьям дымный зигзаг, но надолго их не хватило — рухнули догорать, только лапы рефлекторно подергивались. Ветер доносил бодрое потрескивание пламени. На срезе ствола Огнемета вспыхнул оранжевый язычок, и я поскорей его задул. Появился еще один кролик, поменьше. Я накрыл его струей пламени, но он рванул к речке, за холм, на склоне которого меня атаковал злобный самец. Одним движением я извлек из Вещмешка духовой пистолет и спустил курок, но промахнулся. Кролик исчез за холмом, волоча за собой шлейф дыма.

Я спалил еще трех и решил, что хватит. Напоследок я обдал струей горящего бензина зачинщика всей этой баталии, который сидел на переднем краю Угодий и оцепенело кровоточил, начиненный взрывчаткой. Вокруг зверюги вспух огненный, с черными переливами, шар. Через несколько секунд сработал запал, а еще секунд через десять гроыхнул взрыв; чтото черное и дымящееся подлетело в воздух метров на двадцать, если не больше, куски разметало по всем Угодьям. Этот взрыв ничто не заглушало, грохот прокатился над дюнами, как удар бича, даже я невольно вздрогнул, и в ушах зазвенело.

Останки кролика приземлились далеко у меня за спиной. Я нашел их, ориентируясь по запаху паленого. Это была голова с куском хребта и ребрами и примерно с половиной шкуры. Скрипнув зубами, я подобрал останки за горячий кончик хребта и, вернувшись к откосу, закинул на середину Угодий.

Ласково пригревали косые лучи желтого солнца, ветерок разносил зловоние горелого мяса и паленой травы, дымили норы и трупики, серые и черные, сладковато пах вытекающий из оставленного Огнемета бензин, а я стоял и дышал полной грудью.

Остатками бензина я облил погибшую рогатку, добавил к ней пустую пластиковую бутылку от Огнемета, поджег и уселся, скрестив ноги, на песок, к самому костру. Я смотрел на пламя с наветренной стороны до тех пор, пока от рогатки не осталась только обугленная железная рамка, и тогда похоронил ее там, где она и нашла свою гибель, — у подножия холма. Теперь у холма появилось название — Холм Черной Смерти.

Огонь всюду потух — трава была молодая и слишком сочная. Да мне-то что — хоть гори оно все синим пламенем. Я подумал, не подпалить ли кусты дрока, но каждую весну они покрывались такими веселыми цветочками, да и пахли в свежем виде лучше, чем сожженные, — так что не стал. На сегодня ущерба хватит, решил я. Рогатка была отмщена, самец — или то, что он символизировал, возможно его дух — смешан с грязью, получил суровый урок, и чувствовал я себя просто великолепно. Если с винтовкой все в порядке, если песок не забился в прицел или еще куда-нибудь, где трудно вычистить, то, можно сказать, оно того стоило. Покупку новой рогатки мой Оборонный Бюджет выдержит, правда, с арбалетом придется неделю-другую подождать.

Я упаковал Вещмешок, наслаждаясь чувством удовлетворения, и устало побрел домой. На ходу я обдумывал происшедшее, прикидывал, что, зачем и почему и какой можно из всего этого извлечь урок, какие разглядеть знаки.

По пути я наткнулся на кролика, который, как мне казалось, улизнул. Тот лежал у самой воды — почерневший и неестественно скрючившийся, с укором уставив на меня остекленелый взгляд.

Я спихнул его в речку.

Другого моего покойного дядю звали Хармсуорт Стоув, но он не был моим родным дядей, поскольку происходил из семьи матери Эрика. У него была какая-то фирма в Белфасте, и Эрик с трех до восьми лет жил у них. Хармсуорт покончил с собой при помощи электродрели и сверла диаметром четверть дюйма. Он просверлил себе дырку в виске и, обнаружив, что еще жив, хотя боль была довольно сильная, доехал до ближайшей больницы, где вскоре и умер. На самом деле к его смерти я тоже в каком-то смысле причастен, поскольку он взялся за дрель менее чем через год после того, как Стоувы потеряли своего единственного ребенка, Эсмерельду. Они не знали — да, собственно, и никто не знал, — что Эсмерельда одна из моих жертв.

Вечером я лежал в постели, ждал возвращения отца или телефонного звонка и размышлял о происшедшем. Может, злобный самец забрел на Угодья откуда-нибудь со стороны в надежде установить свои порядки, подмять под себя аборигенов, но пал в поединке с высшим существом, на порядок превосходящим его разумение.

Но в любом случае это явный Знак, тут никаких сомнений. Весь эпизод был исполнен глубочайшего смысла, осталось его расшифровать. Не исключено, что моя машинальная реакция как-то связана с огнем, который предсказала Фабрика, но в глубине души я догадывался, что не все так просто и что продолжение следует. Смысл — во всем, не только в поразительной свирепости самца, но и в моей яростной, почти безотчетной реакции и в судьбе невинных кроликов, на которых обрушилась вся тяжесть моего гнева.

Вдобавок это означало взгляд в прошлое, не только в будущее. Первое мое убийство тоже было связано со смертью кроликов, и тоже от огня — и не просто от огня, а от огнемета, практически идентичного тому, который стал сегодня орудием моей мести. Это уж слишком — слишком в точку, чересчур идеально.

Я не поспевал за событиями, ничего не мог предвидеть. Еще чуть-чуть, и я полностью утрачу контроль над ситуацией. Кроличьи Угодья — казалось бы, раздолье для охотников — продемонстрировали, что это вполне возможно.

От меньшего к большому — закономерность железная, а Фабрика научила меня отыскивать закономерности и не перечить им.

В первый раз я убил в отместку за то, что мой кузен Блайт Колдхейм сделал с кроликами, нашими с Эриком. Эрик и соорудил Огнемёт и оставил его в бывшем велосипедном сарае (теперь это мой сарай), когда кузен, гостивший у нас с родителями, решил, что здорово будет заехать на Эриковом велосипеде в жидкую грязь на южной оконечности острова. Что он и сделал, пока мы с Эриком запускали змеев. Потом он вернулся к сараю и залил в Огнемёт бензин. Устроился в садике за домом так, чтобы от веранды (где сидели его родители и наш папа) его заслоняло развешанное на веревке белье, запалил горелку и обдал пламенем обе клетки — заживо сжег всех наших длинноухих красавцев.

Особенно расстроился Эрик. Он ревел, как девчонка. Мне хотелось прикончить Блайта на месте: порки, которую устроил ему папин брат Джеймс, было, в моих глазах, явно недостаточно — за то, что Блайт вытворил с Эриком, с моим-то братом! Эрик был безутешен и особенно казнился из-за того, что своими же руками изготовил агрегат, сыгравший столь роковую роль. Он всегда был немного сентиментален, всегда чувствительнее, чем я, всегда умнее; до того несчастного случая все были уверены, что Эрик далеко пойдёт. Так или иначе, Блайт фактически положил начало Уголку Черепов, устроенному на склоне большой старой частично перекопанной дюны за домом. Именно там мы хоронили наших домашних животных — начиная с сожженных кроликов. Правда, еще до них там обосновался Старый Сол — но то было разовое захоронение.

Я никому, даже Эрику, ни словом не обмолвился о том, что задумал сделать с Блайтом. Даже в тогдашней моей ребячливости, в нежном пятилетнем возрасте, я был умнее большинства сверстников, кричавших в лицо родителям и приятелям, что ненавидят их и что лучше бы они умерли. Я держал язык за зубами.

Когда Блайт приехал к нам на следующий год, он стал еще невыносимее — перед тем он попал под машину, и ему отрезали левую ногу выше колена. (Мальчик, которого он брал на «слабо», погиб.) Десятилетний Блайт очень переживал потерю ноги — каково ему было, при его-то гиперактивности! Он делал вид, будто этот мерзкий розовый пристяжной придаток не существует, не имеет с ним, Блайтом, ничего общего. Худо-бедно он умудрялся ездить на велосипеде, любил бороться и играть в футбол (как правило, за вратаря). Мне было только шесть лет, и хотя Блайт знал, что в раннем детстве со мной произошел какой-то несчастный случай, в его глазах я был куда здоровее, чем он. Ему очень

нравилось задирать меня, бороться со мной, молотить меня кулаками и пинать. Примерно с неделю я убедительно притворялся, будто в восторге от всего этого жеребьячества, а сам тем временем ломал голову, что бы мне такого сделать с нашим кузеном.

Другой мой брат, Пол, был тогда еще жив. Мы втроем — я, Пол и Эрик — должны были развлекать Блайта, и мы честно старались. Показывали ему все наши любимые места, давали поиграть нашими игрушками, придумывали новые развлечения и т. д. Иногда нам с Эриком приходилось его удерживать, скажем, когда он хотел бросить маленького Пола в речку, чтобы проверить, поплывет или нет, или когда хотел свалить дерево на рельсы, по которым ходил поезд из Портенейля, но, как правило, мы все-таки ладили на удивление мирно, хотя мне было больно видеть, что Эрик, ровесник Блайта, явно его боится.

Итак, в один очень жаркий и комариный день, когда с моря дул легкий бриз, мы все валялись на лужайке к югу от дома. Пол и Блайт уснули, Эрик подложил руки под голову и дремотно щурился в небосклон. Отстегнутый пустотелый пластмассовый протез Блайта лежал в стороне на траве. Я подождал, когда Эрик тоже заснет; наконец его глаза медленно закрылись, голова склонилась набок. Тогда я поднялся и пошел гулять. Добрел до Бункера. Я и не предполагал, какую роль он сыграет в моей жизни, но даже тогда его сумрак и прохлада сулили уют. Старый бетонный дот, построенный перед самой войной, торчал из песка, словно большой серый зуб; там должна была стоять пушка, ее сектор обстрела перекрывал узкий залив. Я зашел в Бункер и обнаружил змею. Это была гадюка. Заметил я ее не сразу — слишком долго возился со старым гнилым столбом от забора: высовывал то в одну бойницу, то в другую и палил по воображаемым кораблям. Только когда настрелялся и пошел в угол отлить, я бросил взгляд в другой угол, где валялись пустые бутылки и ржавые консервные банки, и увидел зигзагообразный узор спящей змеи.

Мне сразу стало ясно, что делать дальше. Тихо выйдя из Бункера, я нашел кусок плавника подходящей формы, вернулся, ухватил гадюку деревяшкой за шею и скинул в первую попавшуюся ржавую банку, у которой еще оставалась крышка.

Змея, наверно, даже толком не проснулась, когда я ее подцепил, а на обратном пути к лужайке, где спали мои братья и Блайт, я только о том и думал, как бы на бегу не растрясти банку. Эрик успел перекатиться на бок и, причмокивая губами, дышал медленно и ровно; одну руку он устроил под головой, другой прикрывал глаза. Блайт лежал на животе, подложив ладони под щеку; розовый обрубок левой ноги, приминая цветы и траву,

выпирал из штанины шортиков чудовищной эрекцией. Я осторожно приблизился, сжимая в руках ржавую банку; солнце было у меня за спиной. Метрах в пятидесяти стоял дом, повернувшись к нам глухой стеной с островерхим коньком крыши. В саду хлопало на ветру сушившееся белье. У меня бешено стучало сердце, я облизал губы.

Я осторожно присел рядом с Блайтом, так чтобы моя тень не упала ему на лицо. Медленно поднял банку и прижался к ней ухом. Змея не пошелохнулась. Я дотянулся до блайтовского протеза, который лежал позади него в тени, гладкий и розовый. Поднес протез к банке, снял с нее крышку и тут же накрыл протезом. Медленно перевернул всю конструкцию вверх дном, тряхнул банку, и змея свалилась внутрь протеза. Поначалу гадюке там не понравилось, она долго билась о пластмассовые стенки, а я, весь в поту, зажимал горлышко протеза банкой, слушал гудение насекомых и шорох травы, смотрел на неподвижного Блайта, чьи темные волосы то и дело ерошил ветерок. У меня дрожали руки, пот заливал глаза.

Гадюка затихла. Я еще какое-то время не отпускал банку, поглядывая на дом. Потом медленно наклонил протез вместе с банкой, пока тот не лег в прежнее положение позади Блайта. В последний момент осторожно отнял банку. И ничего не случилось. Змея так и оставалась в протезе, я ее даже не видел. Я поднялся, и пятился до ближайшей дюны, и зашвырнул банку далеко за гребень. Вернулся на прежнее место, лег там, где сидел, и закрыл глаза.

Первым проснулся Эрик, я тоже разлепил веки — будто бы только проснувшись, и мы разбудили маленького Пола, а затем нашего кузена. Мне даже не понадобилось предлагать сыграть в футбол — Блайт сделал это за меня. Мы с Эриком и Полом отправились устанавливать штанги ворот, а Блайт стал поспешно пристегивать ногу.

Никто ничего не заподозрил. С того самого момента, когда мы стояли втроем разинув рот и смотрели, как Блайт с дикими воплями скачет по траве и пытается сорвать протез, до отъезда убитых горем родителей Блайта и появления Диггса, приехавшего снять показания (в «Инвернесском курьере» промелькнула коротенькая заметка, которую даже воспроизвели, прельстившись экзотикой, два или три бульварных листка с Флит-стрит), никому и в голову не пришло, что за этим кроется нечто большее, чем трагический или, если угодно, макабрический несчастный случай. Но я-то лучше знал.

Эрику я не проговорился. Он был потрясен случившимся и искренне жалел Блайта и его родителей. Я только сказал, что в этом, наверно, суд Божий: сперва Блайт лишился ноги, а затем принял смерть от протеза. И

все из-за кроликов. Эрик (а у него тогда был период религиозности, и я даже пытался ему в этом подражать) сказал, что так говорить ни в коем случае нельзя, Бог совсем не такой. Я сказал, что тот, в которого верю я, именно такой.

Так данный пятачок получил свое название — Змеиный Парк.

Я лежал в постели и вспоминал все это. Отец еще не вернулся. Может, его и до утра не будет. Совершенно ему не свойственно. Я уже начинал волноваться. А вдруг его машина сбила или свалил сердечный приступ.

К вероятности чего-либо подобного я всегда относился неоднозначно и сохранил такое отношение до сих пор. Смерть всегда возбуждает, каждый раз напоминая, насколько ты жив, насколько уязвим — но до поры до времени везуч; однако смерть кого-либо из близких дает прекрасный повод ненадолго сойти с ума, делать то, что в обычной ситуации было бы непростительно. Какой это восторг — вести себя совершенно по-свински, по самому большому счету, и при этом вызывать одно лишь сочувствие!

Но папы мне будет не хватать, и вдобавок я не в курсе, что скажет закон, если я останусь тут один. Достанутся ли мне все его деньги? Это было бы здорово; я мог бы сразу купить мотоцикл, а не ждать черт знает сколько. Вообще столько всего можно было бы сделать — просто голова кругом. Но это означало бы большие перемены, а я не уверен, что готов к ним прямо сейчас.

Меня начинало клонить в сон; стал мерещиться всякий бред — узоры-лабиринты и расширяющиеся пятна неведомых цветов, потом фантастические здания, космические корабли, оружие и пейзажи. Жаль, что я так плохо запоминаю сны...

Через два года после смерти Блайта я убил своего младшего брата Пола, по совсем другим и куда более серьезным причинам, нежели те, что заставили меня разделаться с Блайтом, а еще через год я прикончил свою маленькую кузину Эсмерельду, — можно сказать, забавы ради.

Таков на сегодняшний день мой боевой счет. Трое. Давненько я никого не убивал и больше не собираюсь.

Просто у меня был такой период.

Главные мои враги — это Женщины и Море. Их я ненавижу. Женщин — потому что они слабые и глупые, живут в тени мужчин, по сравнению с которыми они полное ничто; а Море просто выводит меня из себя, разрушая то, что я строил, смывая то, что оставил, начисто стирая следы моего существования. Не уверен, кстати, что и Ветер в этом отношении так уж безупречен.

Море, в общем-то, враг мифологический, и в душе я приношу ему ну жертвы, что ли: немного побаиваюсь его, уважаю, как полагается, однако во многом отношусь к нему как к равному. Оно делает с миром что хочет, вот и я так же; нас обоих следует бояться. Ну а женщины... что до женщин, то, по мне, так они всегда чуть ближе, чем нужно для комфорта. Я возражал бы против самого их присутствия на острове, даже этой миссис Клэмп, которая по субботам привозит нам продукты и убирает в доме. Она очень старая и такая же бесполоая, как все совсем маленькие и совсем старые, но все равно она женщина, а я их терпеть не могу, на что у меня есть свои причины.

На следующее утро я проснулся, гадая, вернулся папа домой или нет. Не потрудившись одеться, я сразу прошлепал к его комнате. Хотел уже взяться за ручку, но, услышав за дверью знакомый храп, развернулся и проследовал в ванную.

Облегчив мочевой пузырь, я приступил к ежедневному ритуалу омовения. Сперва — душ. Только принимая душ, я стаскиваю трусы без малейшей задней мысли, единственный раз в сутки. Трусы я засунул в мешок для грязного белья в вытяжном шкафу. Тщательно вымылся, начиная с головы и заканчивая пальцами ног, особенно между ними и под ногтями. Порой, когда мне нужны драгоценные вещества — подноготный творожок или пух пупочный, — я вынужден ходить немытым по несколько дней кряду; терпеть этого не могу, очень мерзкое ощущение, все чешется, и единственная радость — это залезть наконец в ванну по истечении периода воздержания.

После душа я бодренько растерся, сначала полотенцем для лица, потом большим махровым, и постриг ногти. Тщательно вычистил зубы электрической зубной щеткой. Затем — бритье. Я всегда использую пенку для бритья и новейший станок (последнее слово техники — это двойные

лезвия на шарнирной подвеске, установленные тандемом), ловко и тщательно удаляя темный пух, выросший за сутки. Как и прочие ритуалы моего туалета, бритье следует раз и навсегда заведенным порядком: каждое утро я произвожу бритвой одинаковое количество движений одинаковой длительности в одинаковой последовательности. Разглядывая в зеркале безупречно выскобленную лицевую поверхность, я, как всегда, ощутил нарастающую дрожь возбуждения.

Я высморкался и выковырял все козявки, помыл руки, ополоснул станок, щипчики для ногтей, ванну и раковину, простирнул фланельку и причесался. К счастью, прыщей не было, так что оставалось лишь помыть напоследок руки и натянуть чистые трусы. Я водворил туалетные принадлежности, бритву, полотенца и прочее на их законные места, протер запотевшее зеркало на дверце шкафчика и вернулся в свою комнату.

Сначала я надел носки — на сегодня зеленые. Потом рубашку цвета хаки, со множеством кармашков. Зимой я надел бы под рубашку жилет, а на рубашку — зеленый джемпер армейского образца, но летом это незачем. Далее — зеленые тренировочные штаны и желтовато-коричневые ботинки «кикерз» со споротыми этикетками (я всегда спарываю этикетки, не желаю быть ходячей рекламой). Я захватил военную куртку, нож, подсумки, рогатку и прочее снаряжение и спустился на кухню.

Было еще рано, и, похоже, собирался дождь, обещанный вчера в прогнозе погоды. Наскоро позавтракав, я был готов к выходу.

Свежий утренний воздух пах сыростью, и я пошел быстрее, чтобы согреться и успеть обогнуть остров, пока не зарядил дождь. Тучи скрыли вершины холмов за Портенейлем, ветер крепчал, и на море усиливалось волнение. На траве блестели тяжелые капли росы; туманная морось пригибала нераскрывшиеся цветы, облепляла Жертвенные Столбы с их атрибутами, словно прозрачная кровь, выступившая на скукоженных головках, на усохших тушках.

В какой-то момент над островом проревели два реактивных истребителя — крыло к крылу, «ягуары» мелькнули на высоте всего-то в сотню метров и затерялись в дымке над морем. Я гневно зыркнул на них, но с пути не свернул. Помнится, однажды такая же пара самолетов крепко меня напугала, года два назад. Они отбомбились на близлежащем полигоне и возвращались на базу непозволительно низко, проревев надо мной в самый разгар ювелирной операции, — я как раз пытался заманить в стеклянную баночку осу из старого пня у разрушенной овчарни на северном конце острова. Оса меня ужалила.

В тот же день я отправился в город, купил еще одну сборную модель

«ягуара», после обеда склеил ее и торжественно подорвал на крыше Бункера маленькой бомбочкой. Через две недели «ягуар» упал в море неподалеку от Нэрна, правда, пилот успел катапультироваться. Хотелось бы думать, что это было проявление Силы, но подозреваю, речь о простом совпадении: современные реактивные истребители так часто бьются, что нет ничего удивительного, если мое символическое действие и натуральная авария произошли с интервалом в полмесяца.

Я присел на земляном откосе над Илистой Речкой и сжевал яблоко. Облокотился на молодое деревце, которое несколько лет назад было у меня Убийцей. Сейчас-то оно вон как вымахало, даже меня обогнало, но, когда мы были примерно одного роста, я использовал его как стационарную катапульту для обороны южных подступов к острову. Как и сейчас, тогда оно стояло на берегу широкой речки, забитой илом цвета оружейного металла, а из ила торчал обглоданный остов рыбацкого баркаса.

После Истории со Старым Солом я стал использовать катапульту по другому назначению — сделал ее Убийцей, грозой хомяков, мышей и песчанок.

Насколько я помню, она могла зашвырнуть камень размером с кулак далеко за речку, метров на двадцать от берега, и, когда я приспособился к естественному ритму колебаний деревца, моя скорострельность достигла тридцати выстрелов в минуту. Сектор обстрела составлял шестьдесят градусов, и в этих пределах я мог довольно точно поразить любую цель — в зависимости от того, в какую сторону и с какой силой пригибал верхушку деревца. Естественно, я не запускал хомяка или мышку каждые две секунды; живность расходовалась экономней, несколько особей в неделю. В течение полугода я был лучшим клиентом портенейльского зоомагазина — каждую субботу я приобретал несколько зверюшек, а раз в месяц заодно покупал в игрушечной лавке набор воланчиков для бадминтона. Вряд ли кому-нибудь, кроме меня, приходило в голову совместить одно с другим.

Все это, разумеется, преследовало определенную цель; если уж на то пошло, я почти ничего не делаю просто так. Тогда я искал череп Старого Сола.

Я швырнул огрызок через ручей; аппетитно чавкнув, над огрызком сомкнулся ил у дальнего берега. Пора бы, решил я, проверить собственно Бункер — и трусцой устремился вдоль откоса, вокруг южной дюны, к бетонной коробке. Остановился и оглядел побережье. Вроде бы ничего примечательного, но я вспомнил, что было вчера, когда я так же вот принимался и ничего не почуял — а уже через десять минут боролся не

на жизнь, а на смерть с кроликом-камикадзе. Так что я направился к полосе прибоя глянуть, что там принесла стихия.

Стихия принесла одну бутылку. Несерьезный противник, пустой. Я поднял ее с песка, подошел к воде и зашвырнул как можно дальше. Бутылка выскочила на поверхность горлышком кверху и закачалась на волнах метрах в десяти от берега. Прилив еще не покрыл гальку, так что я подцепил горсть камешков и стал обстреливать плавучую стеклотару. Дистанция была небольшая, я мог вести огонь навесом, а камешки подобрались примерно одного калибра, так что вышло весьма кучно — четыре снаряда легли в непосредственной близости от бутылки, забрызгали ее пеной, а пятый снес горлышко. Довольно скромная победа на самом-то деле, а ведь когда-то я разгромил целую армию бутылок: вскоре после того, как научился метать камни и когда впервые осознал, что море — это враг. Тем не менее периодически оно испытывало меня на прочность, а я был не склонен оставлять безнаказанными даже самые скромные посягательства на мою территорию.

Бутылка утонула, я вернулся к дюнам, поднялся на ту, что скрывала наполовину занесенный песком Бункер, достал бинокль и оглядел окрестности. Кругом чисто, хотя погода хмурится. Я спустился в Бункер.

Железную дверь я починил давным-давно — расшатал, вычистил и смазал ржавые петли, выправил засов. Я достал ключ и отпер висячий замок. Меня встретил привычный запах воска и гари. Закрыв дверь, я подпер ее деревяшкой и выждал, пока глаза освоятся в сумраке, а чувства — в атмосфере Бункера.

Вскоре я начал смутно различать окружающее в слабом свете, сочившемся через две забранные мешковиной бойницы; других окон в Бункере не было. Сняв бинокль и Вещмешок, я повесил их на гвозди, вбитые в слегка растрескавшуюся бетонную стенку.

Взял жестянку со спичками, зажег свечи, вспыхнувшие желтоватыми огоньками, опустился на колени, стиснул кулаки и задумался. Набор для изготовления свечей я обнаружил в серванте под лестницей лет пять или шесть назад и долгие месяцы экспериментировал с цветом и консистенцией, пока не догадался использовать воск в качестве узилища для ос. Подняв взгляд, я увидел осиную головку, торчащую из верхушки свечи, которая стояла на алтаре — кроваво-красная, толщиной с мою руку. Над поверхностью расплавленного воска выделялись ровно горящий фитиль и осиная голова — в сантиметре друг от друга, словно фишки в таинственной игре. Вот огонь начал плавить восковой кокон осиной головы, и усики на мгновение выпрямились, прежде чем обратиться в

пепел. Задымилась и голова, а потом в кратере ярко вспыхнуло второе пламя, и огонь с треском принялся пожирать замурованное насекомое, с головы до жала.

Я зажег свечу в черепе Старого Сола. Этот костяной шар, желтый и дырявый, стал причиной гибели бесчисленных мелких грызунов, поглощенных илом у дальнего берега речки. Дымное пламя трепетало там, где когда-то были собачьи мозги; я зажмурил глаза, и перед моим мысленным взором снова появились Кроличьи Угодья, хаотические пируэты объятых пламенем зверьков. Я опять увидел кролика, который вырвался из пределов Угодий и всего чуть-чуть недотянул до воды. Увидел Черную Смерть и заново пережил ее конец. Вспомнил Эрика и снова задумался, пытаюсь понять, о чем же предупреждала меня Фабрика.

Я увидел себя, Фрэнка Л. Колдхейма, и увидел таким, каким бы я мог быть, — высоким и худощавым, уверенно идущим по жизни, решительным и целеустремленным. Я разлепил веки и так глубоко втянул воздух, что чуть не закашлялся. Глазницы Старого Сола лучились зловонным светом. Потянуло ветерком, пламя свечей по бокам алтаря колыхнулось в такт пламени черепной свечи.

Я обвел взглядом Бункер. Сверху на меня смотрели отсеченные головы чаек, кроликов, ворон, мышей, сов, кротов и ящерок. Они сушились на черных нитяных петлях, подвешенных к натянутым из угла в угол бечевкам, и на стенах за ними медленно покачивались тусклые тени. Снизу, со всех четырех сторон, за мной наблюдали мои коллекционные черепа, установленные на деревянных и каменных плитусах или на банках и бутылках из числа Даров Моря. Желтые лобные кости лошадей, собак, птиц, рыб и рогатых овец обращены к Старому Солу, у одних клювы и челюсти открыты, у других закрыты, оскаленные зубы похожи на выпущенные когти. Правее кирпично-деревянно-бетонного алтаря, на котором располагались череп и свечи, я держал склянки с драгоценными веществами; левее были составлены в штабель пластмассовые ящички из-под шурупов, шайб, гвоздей и рыболовных крючков. В каждом ящичке, не крупнее спичечного коробка, лежало по трупiku ос, прошедших через Фабрику.

Поддев ножом плотно пригнанную крышку стоявшей справа большой жестянки, я набрал чайную ложку белого порошка и высыпал на железное блюдечко перед собачьим черепом. Потом взял пластмассовую коробочку с самым старым осиным трупиком и выложил его на горку белых гранул. Вернув жестянку и ящичек на место, поджег порошок.

Смесь сахара и гербицида с шипением вспыхнуло, меня окутало

дымное облако, и я задержал дыхание, яркий свет пронизал все мое существо, и глаза стали слезиться. Через секунду осталась лишь неровная горка черного шлака. Я зажмурился, пытаюсь уловить закономерности, но в темноте горело, быстро угасая, только остаточное изображение вспышки на сетчатке, и вот оно угасло. Я-то надеялся увидеть лицо Эрика, рассчитывал на какую-нибудь подсказку, но будущее по-прежнему оставалось непроницаемым.

Я склонился над алтарем и задул осиные свечи, потом дунул в пустую глазницу и погасил свечу внутри черепа. После вспышки мое зрение еще не восстановилось, в темноте и дыму я ощупью пробрался к двери. Вышел из Бункера, выпустил во влажный воздух всю гамму испарений и вдохнул полной грудью; одежда и волосы источали синевато-серые завитки дыма. Я зажмурил глаза, постоял так с минуту и вернулся в Бункер прибраться.

Заперев Бункер, я направился домой завтракать. Отца я застал на улице, он колот плавник на заднем дворе.

— Доброе утро, — поздоровался он, отирая пот со лба. День был не слишком жаркий, но очень влажный, и папа разоблачился до жилета.

— Привет, — отозвался я.

— Вчера нормально все было?

— Нормально.

— Я очень поздно вернулся...

— Я уже спал.

— Так я и подумал. А ты небось уже проголодался.

— Давай я приготовлю завтрак, если хочешь.

— Нет-нет, все нормально. Если уж надумал сделать что-нибудь полезное, держи лучше топор. Я сам все приготовлю. — Он опустил топор и поглядел на меня, вытирая ладони о брючины. — Как вчера, тихо все было?

— Конечно, — кивнул я.

— Ничего не слышать?

— Да нет вроде, — заверил я его, сбрасывая снаряжение; потом снял куртку и взялся за топор. — Тишь да гладь.

— Это хорошо, — успокоился он и пошел в дом. Я принялся колоть неровные чурбаки.

После завтрака я взял немного денег и поехал в город на велосипеде по имени Гравий. Отцу я сказал, что к обеду вернусь. На полпути к Портенейлю хлынул дождь, так что пришлось остановиться и накинуть

дождевик. Грунтовку развезло, но до цели я добрался без происшествий. В тусклом послеполуденном свете город казался серым и вымершим; шуршали шинами автомобили на Северном шоссе, некоторые включали фары, отчего все окружающее казалось еще серее. Начал я с «Охоты и рыболовства» — поболтал со стариком Маккензи, приобрел новую американскую охотничью рогатку и пополнил запас пульк для духового ружья.

— Как жизнь молодая?

— Отлично. А вы как поживаете?

— Неплохо, неплохо, — отозвался он, медленно покачивая головой.

В электрическом свете его седина неестественно поблескивала, глаза казались болезненно-желтыми. Реплики наши большим разнообразием не отличаются. Часто я задерживаюсь у него в лавке подольше, очень уж там приятно пахнет.

— А как дела у вашего дяди? Давненько что-то его не видел.

— Дела — просто замечательно.

— Это хорошо, — то ли сощурился, то ли скривился он и снова закивал. Я тоже кивнул и поглядел на часы.

— Ну, мне пора, — сказал я и стал отступать к двери, засовывая новую рогатку в рюкзачок на спине, а обернутые промасленной бумагой упаковки пульк — в карманы военной куртки.

— Что ж, пора, значит, пора, — констатировал мистер Маккензи и сгорбился над прилавком, словно изучая разложенные под стеклом наживки, катушки и манки; потом он взял тряпку, лежавшую возле кассы, и принялся медленно водить ею по стеклу, подняв голову, только когда я обратился к нему уже с порога:

— Ну до свидания.

— Да-да, до свидания.

В кафе «Морские дали» (являвшемся, судя по всему, аренной радикального и локализованного оседания почвы: чтобы из него открывался вид на воду, заведение должно было бы стоять по меньшей мере на этаж выше) я заказал чашку кофе и сыграл в «Космическое вторжение». Они установили новый игровой автомат, но, потратив фунт или около того, я освоился с техникой и даже выиграл призовую игру. Потом это мне наскучило, и я уселся пить кофе.

Я изучил афиши на стенах кафе, но ничего особо интересного в нашей окрестности в ближайшее время не ожидалось. Киноклуб зазывал на «Жестяной барабан», но так называлась книга, которую когда-то купил мне

отец, это был настоящий подарок, большая редкость, так что читать ее я ни в коем случае не стал, равно как и «Майру Брекинридж», другой из его редких подарков. Как правило, он просто дает мне деньги, чтобы я сам покупал то, что мне нужно. Такое впечатление, что ему просто неинтересно; с другой стороны, он ни в чем мне не отказывает. Насколько я могу судить, между нами установилось нечто вроде молчаливого соглашения: я держу язык за зубами насчет того, что официально я как бы не существую, а взамен он позволяет мне заниматься на острове практически всем, чем угодно, и покупать в городе практически все, что мне нужно. Единственное, о чем мы на днях поспорили, — это мотоцикл; папа сказал, что не купит мне его, пока я не подрасту. Я же высказал скромное предположение, что лето, пожалуй, самое удачное время для такой покупки, тогда ведь я мог бы как следует попрактиковаться, пока нет гололеда, но папа считает, что летом в городе и вокруг слишком много туристов и чересчур оживленное движение. Помоему, он просто тянет время: то ли его не устраивает, что я стану слишком независим, то ли он просто боится, что я разобьюсь, — молодежь часто бьется на мотоциклах, особенно поначалу. Короче, не знаю; его настоящие чувства ко мне — тайна за семью печатями. Впрочем, если подумать, то мои настоящие чувства к нему — тоже.

Вообще-то я надеялся встретить в городе кого-нибудь из знакомых, но пока что видел только старого Маккензи в «Охоте и рыболовстве» да толстуху миссис Стюарт в кафе, которая сидела за кофеваркой и зевая листала что-то «миллз-энд-буновское».^[2] С другой стороны, знакомых у меня — раз-два, и обчелся. Единственный мой настоящий друг — это Джейми, правда, через него я познакомился еще кое с кем из ребят моего возраста, которых можно считать приятелями. Учитывая, что в школу я не хожу и к тому же вынужден делать вид, будто живу на острове лишь наездами, со сверстниками я почти не общался (за исключением разве что Эрика, но и он подолгу отсутствовал), а когда я начал было подумывать о том, что пора бы, как говорится, на мир посмотреть, себя показать, — Эрик спятил, и на какое-то время обстановка в городе сделалась несколько напряженная.

Матери стали пугать Эриком своих малолетних чад: веди, мол, себя хорошо, а то придет *Эрик Колдхейм* со своими ужасными червями и личинками, то-то поплачешь. С течением времени история — полагаю, это было неизбежно — подверглась небольшой корректировке: не будешь слушаться, говорили детям, придет Эрик и подожжет тебя (не твоего Тузика или Бобика — тебя самого). И — полагаю, это тоже было неизбежно

— многие дети начали путать меня с Эриком или считать, что я горазд на такие же проделки. Или, может, их родители что-то подозревали насчет Блайта, Пола и Эсмерельды. Как бы то ни было, дети стали убегать от меня или выкрикивать издали всяческие оскорбления, так что я решил временно лечь на дно, свести визиты в город к необходимому минимуму. На меня и по сей день косо посматривают (как дети с подростками, так и взрослые), и я знаю, что некоторые матери страшат своих отпрысков: веди, мол, себя хорошо, а то придет Фрэнк и тебя заберет, — но меня это не волнует. Это я переживу.

Я сел на велосипед и покатил к дому, позабыв об осторожности: лужи я проскакивал на полном ходу, а перед Трамплином — участком тропинки, где после длинного спуска с дюны имеется пригорок, на котором немудрено и подлететь, — разогнался километров до сорока в час и в итоге с громким чвьяком приземлился на раскисшую тропинку, чуть не угодив в кусты дрока, да еще и задницу отбил, так что впору было орать до самого дома. Но все обошлось. Отцу я сказал, что все в порядке и что обедать я приду через часполтора. Затем откатил велосипед к сараю, протер покрышки и раму моего Гравия, а потом изготовил несколько новых бомб — взамен израсходованных накануне, а также про запас. Я включил старый электрический рефлектор, не потому, что мне было холодно, а чтобы очень гигроскопичная смесь не впитывала влагу из сырого воздуха.

На самом деле я, конечно же, мечтаю о том, чтобы не надо было таскать каждый раз из города килограммовые пакеты сахара и жестянки гербицида, а потом набивать смесь в обрезки железных кожухов от электропроводки, которые Джейми-карлик добывает для меня на своей работе — на стройке в Портенейле, — при том что в подвале у нас хранится достаточно пороха, чтобы разнести вдребезги и пополам чуть не весь остров; но отец меня и близко к пороху не подпускает.

Это его отец, Колин Колдхейм, приобрел порох на соседнем судовом заводе, где разрезали корабли на лом. На заводе — который, кстати, давно успели закрыть — работал кто-то из его родственников и обнаружил, что у какого-то старого, допустим, эсминца остался в неприкосновенности один из пороховых погребов. Колин купил весь порох и использовал его для разведения огня. Взрывается порох только в замкнутом объеме, а так это идеальная растопка. Запасов хватило бы лет на двести, даже если бы папа тоже применял порох с той же интенсивностью, так что, видимо, Колин рассчитывал его перепродать. Когда-то папа действительно использовал порох для разжигания кухонной плиты, но это было давно. Бог знает сколько там еще этого добра; я видел огромные штабеля, на тюках даже

сохранились штампы Королевского ВМФ, и я долго ломал голову, как бы оприходовать это богатство, но единственное, до чего я в итоге додумался, — это что можно было бы устроить подкоп из сарая и забирать порох из дальних рядов, так чтобы изнутри подвала запас казался нетронутым. Отец проверяет подвал примерно раз в две-три недели — опасливо спускается с фонарем и пересчитывает тюки, принюхивается и проверяет показания термометра с гигрометром.

В подвале приятная прохлада и совсем не сыро, хотя грунтовые воды должны залегать очень близко, и отец вроде бы знает, что делает, он уверен, что вещество не стало нестабильным, но, думаю, он все равно опасается, особенно после Бомбового Круга. (Снова виновен; опять вина моя. Второе мое убийство — и не исключено, что кто-то из родственников начал тогда что-то подозревать.) Впрочем, если он так боится, почему тогда все не выкинет? Наверно, у него тоже связано с этим порохом какое-нибудь суеверие. Связь с прошлым и все такое или злой таящийся демон, символ всех злодеяний нашего семейства, не иначе как ждет подходящего случая нас удивить.

Короче, к пороху мне не подобраться, так что я вынужден таскать из города железные трубки и всячески с ними уродоваться, выгибать и отпиливать, высверливать, обжимать и снова выгибать, так что верстак и весь сарай скрипят от натуги. Целое искусство, если подумать, по крайней мере квалификации требует немалой, и лишь мысль о том, на что применю плоды моих трудов, мешает мне все бросить, заставляет проливать семь потов над тисками.

Я прибрался в сарае, уничтожил все следы моего бомбоклепания и пошел обедать.

— Они его ищут, — вдруг произнес папа, прожевав очередную порцию капусты с соевым фаршем и готовясь закинуть в рот следующую.

Он блеснул на меня своими черными глазами, будто струей из огнемёта опалил, и снова уткнулся в тарелку. Я хлебнул откупоренного к обеду пива. Эта партия вышла у меня лучше, чем предыдущая, да и крепче.

— Эрика?

— Да, Эрика. Они ищут его на болотах.

— На болотах?

— Они думают, он может скрываться на болотах.

— Ну да, это, пожалуй, объясняет, почему они ищут его там.

— Именно так. — Папа покивал. — Что это ты все время под нос себе гудишь?

Я прокашлялся и вгрызся в очередной бифбургер, сделав вид, что не слышал вопроса.

— Я тут думал... — начал он и, зачерпнув очередную порцию коричнево-зеленой смеси, долго ее жевал.

Я ждал, что он скажет дальше. Он вяло махнул своей ложкой, указывая примерно в направлении верхнего этажа, и произнес: — Какая, по-твоему, длина телефонного провода?

— Натянутого или ослабленного? — тут же уточнил я, отставив стакан с пивом.

Папа хмыкнул и снова принялся за еду. Судя по всему, ответ если и не порадовал его, то удовлетворил. Я отхлебнул пива.

— Я сейчас в город, — наконец проговорил он, ополоснув рот натуральным апельсиновым соком. — Заказы особые будут?

Я помотал головой, отхлебнул пива и сказал:

— Нет, все как обычно.

— Картофельное пюре «Минутка», бифбургеры, сахар, пирожки с мясом, кукурузные хлопья и прочая дрянь, верно? — Он едва заметно скривился в презрительной усмешке, хотя сказано все было довольно ровным тоном.

— Верно, — кивнул я. — Ты мои вкусы знаешь.

— Питаешься черт знает как. Надо было с тобой построже.

Я ничего не ответил, пригнулся к тарелке, сосредоточился на еде. Макушкой я ощущал папин пристальный взгляд, слышал плеск сока в его стакане. Наконец он поднялся из-за стола и пошел к раковине ополоснуть тарелку.

— В город вечером собираешься? — спросил он, отвернув кран.

— Сегодня нет, сегодня я дома. Завтра поеду.

— Надеюсь, ты не будешь опять нажираться как свинья. Когда-нибудь тебя арестуют, и что тогда прикажешь делать? — Он покосился на меня. — Что, а?

— Я не нажираюсь как свинья, — заверил я его. — Стаканчик-другой за компанию, и все.

— За компанию, говоришь? Ну-ну. Как-то слишком много от тебя потом шума. — Он смерил меня суровым взглядом и опять сел к столу.

Я пожал плечами. Естественно, я напиваюсь. Что толку пить, если не напиваться? Но я держу себя в руках, лишние сложности мне ни к чему.

— В любом случае постарайся держать себя в руках. Я все равно узнаю, сколько ты выпил, по твоему бзденью. — Он издевательски фыркнул, словно взбзднул.

У отца была разработана целая теория о том, что между мозгом и кишечником существует связь, основополагающая и самая что ни на есть прямая. Эту теорию он тоже пытается внедрить в массы; он написал здоровенную, на несколько десятков страниц, статью («Бздительный страж»), которую тоже периодически отсылает лондонским издательствам и которую они, конечно же, заворачивают. Он утверждал, что способен по выпускаемым человеком газам определить не только, что тот ел-пил, но и какие-то физиологические особенности, оптимальный рацион, склад характера, нервничает человек, или расстроен, или скрывает какую-то тайну, смеется у тебя за спиной или пытается втереться в доверие, и даже о чем думает в данный конкретный момент (последнее не столько по запаху, сколько по звуку). Полная чушь.

— Хм, — уклончиво произнес я, даже чересчур уклончиво.

— Узнаю, узнаю, — кивнул он.

Я доел, откинулся на спинку стула и вытер рот ладонью — главным образом чтобы позлить отца. Тот продолжал кивать:

— Я знаю, когда ты пил светлое, когда темное. Даже «гиннес» иногда чую.

— «Гиннес» я не пью, — соврал я, но в глубине души впечатлился. — Боюсь подхватить грибковое заболевание горла.

Юмора он, видимо, не уловил, потому что сразу продолжил:

— Совершенно бесполезная трата денег. Только не думай, что я буду твой алкоголизм финансировать.

— Да хватит тебе, — отмахнулся я и встал.

— Я знаю, о чем говорю. Сколько видел я мужиков, не чета тебе были, тоже думали, что им море по колено, а потом кончали под забором, в обнимку с бутылкой крепленого.

Если он думал, что это будет удар ниже пояса — насчет мужиков, которые не чета мне, — то здесь он просчитался, эту тему мы давно исчерпали.

— Жизнь-то моя, в конце концов, — ответил я, поставил тарелку в раковину и вышел.

Отец ничего не ответил.

Вечером я посмотрел телевизор и разобрался кое с какими бумагами: нанес на карты новое обозначение — Холм Черной Смерти, вкратце описал акцию возмездия, зафиксировал в ведомости эффективность израсходованных бомб и изготовление новой партии. На будущее я решил доукомплектовать Вещмешок «поляроидом»; при менее рискованных

карательных вылазках, как вот эта, против кроликов, полезность камеры с лихвой превышает неудобства, связанные с лишним весом и затратами времени на ее использование. Конечно, при серьезных разборках в Вещмешке не должно быть ничего лишнего, но реальной угрозы я уже пару лет не ощущал, а тогда большие мальчишки регулярно задирали меня в Портенейле и устраивали засады на тропе.

Какое-то время мне казалось, что крупномасштабного конфликта не миновать, однако вопреки моим ожиданиям все как-то рассосалось. Однажды они остановили меня, когда я ехал на велосипеде, стали пихать в грудь и требовать денег, но я пригрозил им ножом. Они ретировались, но через несколько дней предприняли попытку вторжения на остров. Я обстреливал их камнями и стальными шариками, они отвечали из духовых ружей, но только я раззадорился, как появилась миссис Клэмп с почтой и пригрозила вызвать полицию, так что они удалились, обругав ее на прощание последними словами.

После этого я оборудовал несколько тайников. Я запасал железные шарики, камешки, арбалетные стрелы и рыболовные грузила, упаковывал их в полиэтиленовые мешки или пластмассовые коробочки и закапывал в стратегически важных точках острова. Вдобавок я расставил на травянистых склонах дюн у ручья силки и проволочные растяжки, соединенные со стеклянными бутылками, так что если бы кто-то попытался проникнуть на остров, то он угодил бы в силок или зацепил проволоку, выдернув закопанную в песок бутылку — и о камень. Несколько вечеров подряд я прокараулил тогда на чердаке, высунув голову в слуховое окно с «материковой» стороны; я напрягал слух, пытаясь уловить звон бьющегося стекла, или приглушенную ругань, или стандартный сигнал — шум вспугнутых птиц, — но ничего не происходило. В течение какого-то времени я выбирался в город только с папой — или с утра пораньше, пока мальчишки в школе.

Систему тайников я сохранил и даже добавил в некоторые по две-три бутылки с зажигательной смесью — там, где в секторе вероятной атаки бутылкам было бы обо что разбиться, — а проволочные растяжки снял и упрятал в сарай. Мой План Оборона, включающий карты острова с обозначением тайников, направления вероятного вторжения, тактическую сводку и список наличного или несложно изготавливаемого оружия, содержит в этой последней категории довольно много неприятных сюрпризов, как то: силки или растяжки, установленные на расстоянии человеческого роста от разбитых бутылок, вкопанных зубцами вверх и скрытых травой, противопехотные мины из начиненных гвоздями обрезков

труб с электрическими детонаторами, а также кое-какое совсем уж экзотическое секретное оружие, например летающие тарелки с прикрепленными по краю бритвенными лезвиями.

Да нет, убивать я сейчас никого не планирую, это все оборонительное вооружение, а не наступательное, — но так мне спокойнее. Скоро я подкоплю денег на хороший мощный арбалет, и эта перспектива очень меня радует: хоть какая-то компенсация за то, что папа и слышать не хочет о покупке винтовки или дробовика. У меня есть рогатки, пращи, духовое ружье, и при определенных условиях все они обладают достаточной убойной силой, но мне очень хотелось бы чего-нибудь поэффективней, подальнобойней. Аналогично — с бомбами, которые я клепаю из обрезков труб. Их приходится специально устанавливать, в лучшем случае — кидать в цель, а самые маленькие, специальной модели, можно метать пращей, но это слишком медленно и неточно. А также небезопасно: если мне надо, чтобы посланная пращей бомба сдетонировала более-менее сразу после того, как попадет в цель (чтобы ее не метнули обратно), фитиль должен быть довольно короткий; пару раз у меня бывало так, что бомба взрывалась, едва вылетев из пращи.

Разумеется, я экспериментировал с самопалами, обычными и типа миномета, стреляющими по навесной траектории, но все они были слишком неудобными, опасными в обращении, с низким темпом стрельбы, и при каждом выстреле я боялся, что разворотит ствол.

А вот дробовик — это было бы идеально, против винтовки двадцать второго калибра я бы тоже не стал возражать, однако придется обойтись арбалетом. Может, когда-нибудь я придумаю, как обойти тот факт, что официально я не существую, и самому подать заявление; впрочем, весьма вероятно, что в разрешении на владение оружием мне, при прочих равных, все равно откажут. Эх, думаю я иногда, жалко, что я не в Америке.

Телефон зазвонил, когда я отмечал в журнале, в каких тайниках давно не проверял бутылки с зажигательной смесью на предмет ее испарения. Я глянул на часы и удивился, кто это так поздно, — было уже почти одиннадцать. Сбегая по лестнице к телефону, я миновал папину спальню и услышал за дверью его шаги.

— Портенейль пятьсот тридцать один.

Бип, би-бип, щелчок соединения.

— Ну, трах-тибидох, Фрэнк, я себе уже такие мозоли натер. Ты-то там как, резвунчик наш, сто чертей тебе в глотку?

Я скосил взгляд на аппарат, потом посмотрел на отца, который стоял у перил на верхней площадке лестницы и заправлял пижамную рубашку в

штаны.

— Привет, Джейми, — сказал я в трубку. — Чего это ты так поздно?

— Какого хрена... А, старик там? — догадался Эрик. — Передай ему от меня, что он пидор гнойный.

— Тебе привет от Джейми, — крикнул я отцу; тот, ни слова не говоря, развернулся и проследовал назад в спальню. — Эрик, ты где? — проговорил я уже в трубку.

— Так я тебе и скажу, размечтался. Угадай.

— Ну, не знаю... В Глазго?

— Гы-гы, гы-гы, — загоготал Эрик. Я стиснул скользкую трубку.

— Как ты? С тобой все в порядке?

— Лучше некуда. А ты как?

— Все круто. Слушай, чем ты там питаешься? Деньги хоть есть? Автостопом едешь или как? Тебя вообще-то ищут, но в новостях ничего пока не передавали. Ты хоть не... — Я осекся, побоявшись ляпнуть что-нибудь не то.

— Говорю же, все лучше некуда. Я тут собачками питаюсь! Хи-хи-хи!

— Господи боже, — простонал я. — Кончай ты с этими шуточками...

— Никаких шуток! Чем еще мне, спрашивается, питаться? Не жизнь, а сказка, братец Фрэнки! Я держусь сельской местности, сплошные поля да перелески, иногда удастся кого-нибудь застопить, а когда рядом городишко какой-никакой, я примечаю бобика потолще да посочнее, втираюсь в доверие, завожу в лес, там убиваю и съедаю. Что может быть проще? Полезная штука свежий воздух.

— Ты их что, жарить?!

— Естественно, жарю! — негодуя откликнулся Эрик. — Что я тебе, троглодит какой-нибудь?

— И больше никакой еды?

— Почему же. Еще я краду. В магазинах. Это, оказывается, так просто. Я на это дело запал, тащу что ни попадя, даже то, что не могу съесть: тампоны там всякие, мусорные мешки, целые поддоны чипсов, коктейльные соломинки по сотне в пучке, цветные свечи для торта, расфасованные по дюжинам, рамочки для фотографий, чехлы для руля из кожаменителя, вешалки для ванной комнаты, стиральный порошок и сверхмощный дезодорант, дабы развеять устойчивый запах стряпни, и симпатичные коробочки для всякой всячины, блоки аудиокассет, колпачки с фиксатором для канистр, антистатик для пластинок, телефонные справочники журналы как похудеть кухонные прихватки пачки визиток искусственные ресницы косметику антиникотиновый пластырь

игрушечные часы...

— Разве чипсы ты не любишь? — перебил я.

— Чего? — сбился он.

— Ты назвал целые поддоны чипсов в ряду того, что не можешь съесть.

— Фрэнк, ради бога! Ты что, хочешь сказать, что можешь съесть целый поддон чипсов?

— Ну а как ты вообще? — быстро спросил я. — Неудобно же, наверно, спать на траве там где-нибудь. И простудиться недолго.

— Я не сплю.

— Не спишь?

— Нет, конечно. Спать вовсе не обязательно. Тебя просто убеждают, что сон необходим, — дабы держать тебя под контролем. Кому это надо — спать? Тебя просто учат спать в детстве, вот и все. От этого можно легко отвыкнуть, если поставить себе такую цель. Я же отвык. Я больше не сплю. Так гораздо легче не утратить бдительность, не попасть в засаду, идешь себе на автопилоте, и все. Великая вещь автопилот. Как пароход и человек.

— Пароход и человек? — тупо переспросил я.

— Слушай, Фрэнк, кончай повторять за мной, как попугай. — Он кинул в автомат еще несколько монет. — Вот вернусь, научу тебя, как не спать.

— Спасибо. А когда ты вернешься?

— Раньше или позже! Гы-гы, гы-гы.

— погоди, Эрик, так зачем тебе есть собак, если ты все можешь украсть?

— Совсем, что ли, балбес? Я же сказал, это дерьмо все несъедобное.

— Так не проще ли красть вместо несъедобного что-нибудь съедобное, тогда и с собаками возиться не надо? — предложил я и сразу понял, что говорить этого не стоило; я чувствовал, как мой голос поднимается к концу фразы все выше и выше — верный признак того, что я совсем заговорился, несу полную белиберду.

— Псих, что ли? — выкрикнул Эрик. — Да что с тобой такое? Что ты несешь? Это же псы, обыкновенные псы! Не кошки, не мышки-полевки, даже не золотые рыбки!.. Я о псах говорю, дубина ты стоеросовая, понятно? О псах!

— Нечего на меня орать, — хладнокровно проговорил я, хотя сам уже начинал кипятиться. — Я просто спрашивал, зачем тебе тратить столько сил и времени, чтобы красть что-то несъедобное, а потом тратить еще больше сил и времени, чтобы красть собак, когда ты мог бы за один заход,

так сказать, и красть, и есть.

— «Так сказать»? «Так сказать»?!! Чего ты там лопочешь, ни слова не понятно? — заголосил Эрик хриплым, полузадушенным контральто.

— Только орать не надо, — зажмурившись, простонал я и проскреб ежик своих волос пятерней.

— Хочу орать — и буду! — заорал Эрик. — Чем я, по-твоему, тут занимаюсь, а? Ради чего? Это же псы! Слышишь, ты, недомерок, дерьмо безмозглое? Мозги-то еще остались, а, братик? Что, язык проглотил, а? Я спрашиваю, язык, что ли, проглотил?

— Только не надо колотить... — сказал я, даже не в трубку.

— Та-а-а-а-ак-ра-ас-та-а-а-а-а-ак!!! — давясь, выплюнул Эрик на своем конце линии и с визгом и скрежетом заколошматил трубкой по стеклам будки.

Я вздохнул и дал отбой. Как-то нам последнее время тяжело с братцем найти общий язык по телефону.

Я вернулся в свою комнату, стараясь не думать об Эрике: надо было пораньше лечь, чтобы не проспять намеченную на утро церемонию крещения новой рогатки. Разберусь сначала с этим, а там можно будет спокойно подумать и о том, как вести себя с братцем.

...Тоже мне, пароход и человек. Псих ненормальный.

Я часто думал о себе как о государстве, как об административном округе или, на худой конец, городе. Порой мне казалось, что, когда я обдумывал ту или иную мысль или намечал линию поведения, мои чувства были сродни, скажем так, политическим поветриям. Я всегда считал, что люди голосуют за новое правительство не потому, что поддерживают его курс, а только из-за жажды новизны. Им кажется, что новое — это всегда лучшее. Да люди вообще тупые, но тут-то умственные способности и ни при чем, это скорее дело настроения, минутной прихоти, нежели умения взвешивать «за» и «против». И по-моему, в голове у меня происходит что-то похожее. Иногда мои мысли ну никак не могут между собой договориться, да и чувства тоже; не мозг, право слово, а целое народное собрание.

Например, какая-то часть меня постоянно терзалась муками совести из-за убийства Пола, Блайта и Эсмерельды. Теперь та же самая часть не находила себе места из-за кроликов, — мол, зря я с ними так, остальные-то не виноваты, что один длинноухий паршивец спятил. Но я приравниваю мои терзания к оппозиции в парламенте или к независимой прессе: совесть общества, конечно, своего рода тормоз — безусловно; однако реальной власти у них никакой, даже в перспективе. Другая часть меня однозначно расистская — скорее всего, потому, что цветных я почти не встречал, только читал о них в газетах или видел по телевизору, а там то и дело твердят об их «угрожающей численности» и придерживаются презумпции виновности. Эта часть по-прежнему довольно сильна, хотя я понимаю, что для расовой ненависти нет никаких разумных оснований. Когда я вижу в Портенейле цветных — скажем, покупающих сувениры или заходящих в кафе, — то каждый раз надеюсь, что они у меня о чем-нибудь спросят и я смогу проявить всю свою вежливость, доказать превосходство моего интеллекта над грубыми инстинктами или плодами воспитания.

Впрочем, это только лишний раз подтверждает, что мстить кроликам было незачем. Мстить вообще незачем, даже в большом мире. По-моему, акции возмездия по отношению к людям, связанным с обидчиками отдаленно или в силу обстоятельств, нацелены лишь на то, чтобы принести радость мстителю. Это как со смертной казнью: дело же не в том, чтобы другим неповадно было, или прочей ерунде — а в том, чтобы получить

удовольствие самому.

Кролики хотя бы не узнают, что это Фрэнк Колдхейм обрушил на них свою карающую десницу; а вот у людей все иначе, люди-то прекрасно понимают, что сотворили с ними злодеи, и в результате месть производит эффект, строго обратный ожидаемому: она не столько подавляет сопротивление, сколько его стимулирует. Я-то хоть признаю, что стремлюсь возвыситься в собственных глазах, залечить уязвленную гордость и доставить себе удовольствие, а не спасти страну, восстановить поправленную справедливость или почтить память павших.

Так что какие-то части меня смотрели на обряд крещения новой рогатки как на пустую забаву, и даже с некоторым презрением. Так интеллектуалы посмеиваются над религией, будучи в то же время не в силах отрицать ее влияние на народные массы. Согласно ритуалу, я помазал железные, резиновые и пластмассовые детали нового оружия своей кровью, мочой, ушной серой, соплями, пухом пупочным и творожком подноготным, затем вхолостую выстрелил по бескрылой осе, изучавшей циферблат Фабрики, а напоследок посадил себе синяк, что есть сил вмазав резинкой по босой ноге.

Какие-то части меня считали, что все это чушь собачья, но они были в крошечном меньшинстве. Большинство же не сомневалось, что такие вещи работают. Так я укрепляю силы, сливаюсь с тем, что мне принадлежит и где я нахожусь. И мне от этого хорошо.

В одном из альбомов, которые хранятся у меня на чердаке, я отыскал детскую фотографию Пола и после церемонии написал имя новой рогатки на обороте карточки, завернул в нее подшипник, укрепил неровный комочек изолентой — и спустился с чердака, вышел из дома в зябкую морось нового дня.

Я отправился на север острова, к старому стапелю, встал на его покореженный край, натянул резинку почти до предела и пульнул подшипник с фотографией далеко-далеко в море. Тот со свистом улетел, тяжело кувыркаясь в воздухе. Всплеска я не увидел.

Пока никто не знает имени рогатки, она в безопасности. Конечно, Черной Смерти это не помогло, но она погибла из-за моей ошибки, а сила моя столь велика, что, когда я ошибаюсь (случай редкий, но не невозможный), даже те вещи, которым я обеспечил самую мощную защиту, становятся уязвимыми. И опять в этой моей голове-государстве поднялось гневное возмущение: как я мог допустить подобную оплошность! — и я услышал свой твердый ответ: больше такого не повторится. Словно

генерала, проигравшего битву или не удержавшего важный участок фронта, подвергали взысканию или отдавали под трибунал.

Короче, я сделал для защиты новой рогатки все, что мог. Жаль, конечно, что происшествие на Кроличьих Угодьях стоило мне верного испытанного оружия, неоднократно покрывшего себя славой, а также значительной суммы из Оборонного Бюджета, но я решил, что, может, оно и к лучшему. Если бы не это испытание на прочность, та часть меня, которая просчиталась со злобным самцом, так, может, и не выявилась бы, так и оставалась бы неискорененной. А теперь — бездарный или недальновидный генерал отправлен в отставку. Эрик возвращается, и не исключено, что мне понадобятся все мои силы, вся смекалка.

Час был еще очень ранний, и хотя обычно туман с моросью меня расхолаживают, но после церемонии я был полон сил, уверенности в себе.

Настроение — в самый раз для Пробежки; так что я оставил куртку возле Столба, у которого стоял, когда Диггс привез известия, и надежно укрепил рогатку за поясом тренировочных штанов. Проверив, нет ли заломов на носках, я перешнуровал ботинки в расчете на беговое натяжение и неторопливой трусцой припустил к полосе плотного песка между валами водорослей, оставленных приливом. Дождик то моросил, то прекращался, сквозь облака и туман иногда проглядывал размытый красный диск солнца. С севера поддувало, и я бежал против ветра. Разгонялся я постепенно, шаг держал широкий, дыхание экономил, чтобы как следует разогреть ноги и подготовить легкие. Сжатые в кулаки руки ходили слаженно, ритмично, подавая вперед сперва одно, потом другое плечо. Я глубоко втягивал воздух, мягко отталкиваясь от песка. Достигнув речной дельты, перешел на бег с препятствиями, соразмеряя шаг с шириной ветвящихся ручейков — по ручейку на прыжок. Перепрыгнув через последний, я пригнул голову и ускорил темп. Макушкой и кулаками я таранил воздух, ногами — загребал и отталкивался, загребал и отталкивался.

Воздух жег бичом, растворенная в нем морось — слабыми уколами. Легкие раздувались-сжимались, раздувались-сжимались; под ногами вскипали фонтанчики песка и, описав дугу, опадали позади. Я задрал голову, подставляя горло ветру, как любовник, дождю — как жертва. Дыхание вырывалось со свистом, легкость в голове, которую я начал ощущать какое-то время назад благодаря избытку кислорода в крови, прошла, дополнительная энергия передалась теперь мышцам. Я снова прибавил темп, изломанная линия гнилых водорослей, плавника, пустых бутылок и жестяных банок замелькала еще быстрее; казалось, я сплошной

сгусток энергии, нет, бусинка на ниточке, и меня неудержимо тянут-потянут за горло, за легкие, за ноги. Я держал ускорение, сколько мог; потом расслабился и перешел на обычный быстрый бег.

По левую руку, словно трибуны ипподрома, проплывали дюны. Прямо по курсу виднелся Бомбовый Круг, там я поверну или финиширую. Я снова пригнул голову и надал газу, мысленно вопя истошным голосом, и беззвучный крик был словно пресс, неумолимо опускающийся все ниже и ниже, чтобы выжать из моих ног последнее усилие. Я *летел* над песками — корпус пригнут под немыслимым углом, легкие готовы разорваться, ноги ходят, как поршни.

Еще мгновение, и я резко сбавил ход, перешел на трусцу, ввалился на подкашивающихся ногах в Бомбовый Круг и рухнул на песок, замер среди камней, раскинув руки-ноги, тяжело дыша, глядя в серое небо и невидимую морось. Грудь вздымалась и опадала, сердце бешено колотилось о ребра. Глухое гудение наполняло уши, все тело вибрировало и зудело. Мышцы ног словно одеревенели от напряжения. Я уронил голову набок, впечатался щекой в прохладный влажный песок.

Интересно, что чувствует человек, умирая?

Бомбовый Круг, отцовская увечная нога, трость и, возможно, его нежелание покупать мне мотоцикл, свечи в черепе, орды мертвых мышей и хомяков — всему этому виной Агнес, вторая жена отца и моя мать.

Матери своей я не помню, потому что иначе я бы ее ненавидел. А так я ненавижу ее имя, саму идею матери. Это она позволила Стоувам забрать Эрика в Белфаст — оторвать его от острова, от всего, что он знал. Они думали, что мой папа плохой отец, поскольку он одевал Эрика в девчоночье платье и ни в чем его не ограничивал, а мама позволила его забрать, поскольку вообще не любила детей, а Эрика особенно; она полагала, что он как-то дурно влияет на ее карму. Не исключено, что именно нелюбовь к детям побудила ее бросить меня сразу после моего рождения и заставила вернуться в тот единственный раз, когда произошло роковое событие; когда она, по крайней мере отчасти, стала виновницей моей маленькой трагедии. То есть в общем и целом причин ненавидеть ее у меня более чем достаточно. И вот я лежал в Бомбовом Круге, где убил ее второго сына, и надеялся, что она тоже мертва.

Назад я бежал легкой трусцой. Я весь лучился энергией и чувствовал себя даже лучше, чем в начале Пробежки. И уже предвкушал, как выберусь вечером в город — тяпну пивка, поболтаю с моим другом Джейми, оттянусь в «Колдхейм-армз» под что-нибудь оглушительное, чумовое.

Разок спринтанув — чтобы встряхнуть мозги, а заодно избавиться от засевшего в волосах песка, — я снова расслабился и перешел на трусцу.

Обрамляющие Бомбовый Круг камни всегда заставляют меня задуматься; не был исключением и этот раз, тем более если учесть, как я там распластался, словно Христос какой-нибудь — открытый небу, грезящий о смерти. Что ж, Полу, по крайней мере, не пришлось мучиться, с ним я поступил гуманно. А вот у Блайта было время понять, что происходит, пока он скакал с воплями по Змеиному Парку, а разъяренная гадюка снова и снова вонзала клыки в его обрубок, да и малышка Эсмерельда, наверно, худо-бедно догадывалась, что ее ждет, когда ее медленно уносило ветром.

Когда я убил моего брата Пола, ему было пять лет. Мне — восемь. После того как я при помощи гадюки вычел Блайта, прошло два года, прежде чем представился удобный случай избавиться от Пола. Против него лично я ничего не имел, но было очевидно, что он не жилец. Я понимал, что, пока он жив, от пса я не освобожусь (Эрик, бедный добрый башковитый, но глупый Эрик думает, что я до сих пор не освободился, а я даже не могу ему объяснить, почему уверен в обратном).

Мы с Полом вышли погулять по пляжу и двинулись в северном направлении. Был ясный осенний день после страшного ночного шторма, который сорвал черепицу с крыши дома и повалил дерево у старой овчарни, а на подвесном мосту даже лопнул один из тросов. Папа привлек Эрика к ремонтным работам, а Пола я увел на пляж, чтобы не путаться под ногами.

Мы с Полом всегда хорошо ладили. Чуть не с самого его рождения я понимал, что он не жилец, и потому старался в меру сил скрасить его недолгое пребывание на этом свете, так что в итоге относился к нему гораздо лучше, чем большинство мальчишек относятся к своим младшим братьям.

Выйдя к устью, мы сразу заметили, что ураган многое изменил: река вздулась, образовалось множество новых притоков — глубоких канав, по которым стремительно неслась вода, подмывая песчаные берега. Перебраться на другую сторону мы сумели только у самого моря, на отливной отметке. Я держал Пола за руку. Он что-то напевал и сыпал обычными детскими вопросами: например, почему буря не унесла всех птиц и почему море не выходит из берегов, притом сколько воды несет река да как быстро. Ни о чем дурном я и не помышлял.

Мы неспешно брели по песку, с интересом разглядывая выброшенную морем всякую всячину. Пляж постепенно сходил на нет. Там, где раньше

непрерывной золотой полосой простирался до самого горизонта песок, начинал теперь проглядывать камень, его становилось больше и больше, пока наконец за дюнами не открылся сплошной каменный берег. За ночь штормом смыло весь песок на огромном участке, почти от самой реки и до тех дальних мест, которым я еще не придумал названий и которых, собственно, толком и не знал. Зрелище было впечатляющее, поначалу даже немного пугающее — исключительно масштабом перемен, и я побаивался, не может ли что-нибудь подобное произойти с центральной частью острова. Но я помнил, как папа рассказывал, что в прошлом такое тоже случалось и песок потом всегда возвращался, за несколько месяцев, а то и недель.

Полу все очень нравилось, он весело прыгал с валуна на валун и швырял камешки в отливные лужи. Лужи между камнями были для него в новинку. Мы двигались дальше по пустынному берегу, изучая Дары Моря, и наконец подошли к ржавому, сходящему на конус цилиндру. Издали мне показалось, что это либо бак для воды, либо наполовину засыпанное песком каноэ. Цилиндр криво торчал из песка, возвышаясь метра на полтора. Я буравил его взглядом, а Пол тем временем шлепал по лужицам, пытаюсь ловить не ушедшую с отливом рыбу.

Я коснулся железного бока и ощутил непонятную силу, спокойствие. Потом отступил, как следует пригляделся и наконец понял, что это такое. Я прикинул, какой величины та часть, которая находится под песком. А была это авиабомба стабилизатором книзу.

Я осторожно приблизился к бомбе и погладил ее, шепча ласковые слова. Ржаво-рыжая машина с черными разводами пованивала сыростью и отбрасывала длинную тень. Проследовав до конца тени, я уткнулся взглядом в крошку Пола — тот самозабвенно плескался между камнями и колотил по воде плоским куском плавника чуть ли не с него ростом. Я улыбнулся и подозвал его.

— Видишь? — спросил я, указав на бомбу. (Вопрос был риторический. Пол, вытаращив глазенки, кивнул.) — Это колокол, — пояснил я. — Как в городе на церкви. Это они трезвонят по воскресеньям.

— А-а, сразу после затрака, да, Фрэнк?

— Что-что?

— Звон! В васкисенье, сразу после затрака. — Пол легонько стукнул меня по колену пухлой ладошкой.

— Правильно, — кивнул я. — Это колокола звонят. Колокол — это такая большая железная штуковина, а в ней сидит звон, и его выпускают каждое воскресенье после завтрака. Вот что это такое.

— Затрак? — Пол глянул на меня, в недоумении наморщив бровки.

— Нет, колокол, — терпеливо покачал я головой.

— «К — это колокол», — проговорил Пол, задумчиво кивая и глядя на ржавый цилиндр.

Наверно, вспоминал старый букварь. Он был способный мальчуган; папа рассчитывал в положенный срок отдать его в нормальную школу и заранее начал учить его азбуке.

— Верно. А этот здоровый колокол, наверно, смыло с корабля, а может, он сам откуда-нибудь упал. Знаешь что, давай я сейчас заберусь вон на ту дюну, а ты из всех сил стукнешь по нему палкой, и посмотрим, услышу я или нет. Ну как, попробуем? Только это будет очень громко, вдруг ты испугаешься?..

Я пригнулся, наши лица оказались вровень. Он с силой помотал головой и ткнул меня в нос своим носиком.

— Не испугаюсь! — выкрикнул он. — Я...

Он вскинул над головой деревьяху и метнулся к бомбе — я еле успел его поймать.

— Рано, — сказал я. — Подожди, пока я отойду. Это старый колокол, в нем, наверно, один-единственный звон и остался. Не хочешь же ты растратить его попусту.

Пол вился угрем, всем своим видом показывая, что готов растратить попусту что угодно, только бы в конце концов ему дали звездануть доской по колоколу.

— Хо-ошо, — вздохнул он и перестал сопротивляться. Я его отпустил. — А можно я вдарю со всей, со всей силы?

— Со всей, со всей — как только я махну вон с той дюны. Договорились?

— Можно потернироваться?

— Тренируйся на песке.

— А на лужах?

— Можно и на лужах. Хорошая мысль.

— И на этой? — Он показал концом деревьяхи на круглую лужу вокруг бомбы.

— На этой нельзя, а то колокол может обидеться.

Он нахмурился:

— А колокола обижаются?

— А как же. Все, я пошел. Бей из всех сил, а я буду слушать из всех сил, хорошо?

— Хо-ошо, Фрэнк.

— Только не бей, пока я не махну, обещаешь?

— Обисчаю, — кивнул он.

— Вот и молодец. Я мигом.

Я развернулся и трусцой побежал к дюнам. В спине как-то странно свербило. На бегу я периодически озирался, нет ли кого поблизости. Нет, все чисто — лишь чайки кружат в небе на фоне редких взлохмаченных облаков. Оборачиваясь, я видел Пола. Не отходя от бомбы, тот изо всех сил молотил доской по песку — ухватив ее обеими руками, подпрыгивая при каждом ударе и радостно визжа. Я ускорил темп; камень под ногами сменился плотным влажным песком, а за приливной линией — сухим золотистым; наконец я вскарабкался по травянистому склону на гребень ближайшей дюны. Крошечная фигурка Пола терялась на фоне поблескивающих от солнца луж и мокрого песка, в тени косого железного конуса. Я выпрямился в полный рост, дождался, пока Пол меня заметит, огляделся напоследок, помахал вскинутыми над головой руками и упал ничком.

Пока я лежал там и ждал, до меня вдруг дошло, что я не сказал Полу, в каком месте надо бить по бомбе. Ничего не происходило, и пучина уныния засасывала меня все глубже и глубже. Я вздохнул и приподнял голову.

Пол казался крошечной марионеткой, дергающейся на невидимых нитях, он вскидывал деревьяху над головой и методично лупил бомбу по боку. Сквозь шорох ветра в траве до меня доносились его радостные вопли.

— Вот черт, — прошептал я, и в этот момент Пол, мельком взглянув в мою сторону, принялся обрабатывать носовую часть бомбы. После первого удара я отнял руку от подбородка и хотел было пригнуться, как вдруг Пол, бомба, кольцо воды и все вокруг метров на двадцать исчезло в высоко взметнувшемся столбе песка, пара и каменных осколков, озаренном в ослепительно краткий первый миг вспышкой сдетонировавшей взрывчатки.

Когда фонтан грязи и осколков стал опадать, до меня докатилась ударная волна. Я смутно уловил сухой шорох песка, посыпавшегося по склонам соседних дюн. Затем в уши ударил грохот: оглушительный щелчок бича с последующим громовым раскатом. Расходясь от эпицентра взрыва постепенно расширяющимся кругом, внизу вскипали фонтанчики песка — это падали каменные осколки и прочая грязь. Ветер трепал и уносил к морю песчано-газовый столб, в тени которого полоска берега стала совсем темной, а под самым столбом образовалась туманная пелена — как под грозовой тучей, готовый вот-вот пролиться дождем. Наконец стал виден кратер.

Я сбежал по склону дюны и остановился в полусотне метров от еще

дымящегося кратера. К разбросанным вокруг ошметкам я не присматривался, глядел на них краем глаза, желая и в то же время не желая увидеть окровавленные куски мяса или клочья одежды. От холмов за городом покатилося протяжное неуверенное эхо. Кратер окаймляли гигантские каменные зубцы: выдранные из скрытого под песком скального основания, они щербато торчали вкривь и вкось. Глядя вслед дымному облачку, я подождал, пока оно не развеется над заливом, а потом со всех ног побежал к дому.

Сейчас я могу с уверенностью сказать, что это была пятисоткилограммовая немецкая бомба, выброшенная подбитым «Хейнкелем-111», который пытался вернуться на аэродром в Норвегии после неудачного налета на близлежащую базу гидропланов. Иногда я тешу себя мыслью, что подбила его зенитка из нашего бункера; пилот лег на обратный курс и поспешил избавиться от бомбовой нагрузки.

Отдельные зубья этих каменных глыб по-прежнему высовываются из давно вернувшегося песка, онито и образуют Бомбовый Круг — самый достойный памятник бедняге Полу: богохульное каменное кольцо, где играют тени.

Мне снова повезло. Никто ничего не видел, да никому бы и в голову не пришло меня заподозрить. На этот раз я был раздавлен горем, терзался чувством вины, и Эрику приходилось возиться со мной, пока я играл эту роль, — безукоризненно играл, скажу без лишней скромности. Мне не нравилось обманывать Эрика, но я понимал, что это необходимо: я не мог сказать ему правду, он ведь никогда не понял бы, зачем я это сделал. Он бы страшно испугался и, скорее всего, перестал бы со мной дружить. Так что мне пришлось изображать убитого горем ребенка, во всем винящего одного себя, а Эрик должен был меня утешать, пока папа предавался своим мрачным раздумьям.

На самом деле мне не понравилось, как Диггс выпрашивал меня о происшедшем, и я даже сначала подумал, что он догадывается, — но, похоже, мои ответы его удовлетворили. Мешало, что я должен был называть папу «дядей», а Эрика с Полом «кузенами» — так отец надеялся сбить Диггса с толку, если тот начнет наводить справки и выяснит, что по документам меня не существует. Легенда гласила, что я сирота, сын давно умершего папиного брата, что на острове я бываю длительными наездами и что родственники передают меня с рук на руки, пока «решается» моя судьба.

Как бы то ни было, все прошло удачно, и даже море в кои-то веки мне подыграло: почти сразу после взрыва начался прилив и — за час с

небольшим до того, как из города прибыл Диггс осмотреть место происшествия, — скрыл все улики, которые я мог оставить.

Когда я вернулся, в доме была миссис Клэмп. Она прислонила свой старый дорожный велосипед к кухонному столу и разгружала большую плетеную корзину, укрепленную на переднем багажнике; набивала наш буфет, холодильник и морозилку добытой в городе провизией.

— Доброе утро, миссис Клэмп, — вежливо поздоровался я, входя в кухню.

Миссис Клэмп, очень старенькая, совсем крохотная, развернулась ко мне.

— А, так это ты? — проговорила она, оглядев меня с ног до головы, и снова зарылась в корзину.

Извлекла обеими руками длинные газетные свертки, прошаркала к морозилке, забралась на приставленный рядом табурет, развернула газету и выгрузила несколько упаковок моих бифбургеров. При этом она залезла в морозилку чуть ли не с головой, и я подумал, как легко было бы... Я встряхнулся и отогнал идиотскую мысль. Уселся за стол и принялся наблюдать процесс разгрузки-загрузки.

— Как поживаете, миссис Клэмп? — поинтересовался я.

— Кто, я? Неплохо, неплохо, — сказала миссис Клэмп, вскинув голову, и слезла с табурета; сгребла в охапку следующую порцию бургеров и двинулась в обратный рейс к морозилке.

Я подумал, уж не грозит ли ей обморожение: на едва заметных усиках старушки, кажется, поблескивали кристаллики льда.

— Ну вы сегодня и нагрузились, миссис Клэмп. Так ведь и с велосипеда упасть недолго.

— Мне? Упасть? Скажете тоже!

И она снова вскинула голову и зашагала к раковине; подошла, приподнялась на цыпочки, пустила горячую воду, ополоснула руки, вытерла их о клетчатый передник и достала из корзины упаковку сыра.

— Может, чашечку чая?

— Мне? Нет! — сказала миссис Клэмп, вздернув голову уже в морозилке, и едва не задела макушкой ванночку для льда.

— Ну нет так нет.

Она опять ополоснула руки. А когда начала отделять салат-латук от шпината, я извинился и поднялся к себе в комнату.

Традиционный субботний ленч: рыба с картошкой с нашего огорода.

Миссис Клэмп сидела на моем месте, напротив папы, и это тоже вошло в традицию. Я сидел сбоку, спиной к раковине, и выкладывал из рыбьих костей на тарелке весьма выразительный узор, а папа и миссис Клэмп обменивались самыми формальными, если не сказать ритуальными, любезностями. Из костей мертвой рыбы я составил человеческий скелет и полил его кетчупом, для пущей натуральности.

— Еще чаю, мистер Колдхейм? — предложила миссис Клэмп.

— Нет, миссис Клэмп, спасибо, — ответил папа.

— А тебе, Фрэнсис? — спросила миссис Клэмп у меня.

— Нет, спасибо, — ответил я.

Горошина вполне сгодится для позеленевшего черепа. Я приделал скелету череп. Папа и миссис Клэмп гудели о том о сем.

— Я слышала, приезжал констебль... — протянула миссис Клэмп и вежливо кашлянула.

— Неужели? — проговорил папа и закинул в рот столько рыбы с картошкой, что по меньшей мере на минуту был вынужден воздержаться от беседы.

Миссис Клэмп уставилась на свою пересоленную рыбу, покивала ей и отхлебнула чая. Я замурлыкал себе под нос, и папа метнул на меня гневный взгляд, продолжая работать челюстями; те ворочались, будто сцепившиеся борцы-тяжеловесы.

На этом тема была закрыта.

Субботний вечер в «Колдхейм-армз». Я по обыкновению стоял у дальней стенки прокуренного, переполненного народом зала — стоял, слегка расставив ноги и подпирая спиной оклеенную обоями колонну, в руке у меня был пластиковый стакан лагеря, а на плечах сидел Джейми-карлик, который периодически ставил мне на макушку свою пинту темного, когда увлекался беседой.

— Чего поделывал, Фрэнки?

— Да так, по мелочи. Прикончил тут на днях несколько кроликов, да Эрик все достает своими сумасшедшими звонками. Больше, в общем-то, и ничего. А у тебя что слышно?

— Да все то же. А как это Эрик тебе звонит?

— Ты что, не знаешь? — повернул я к нему голову. Он нагнулся и заглянул мне в глаза. Кверху ногами у людей такие смешные лица. — Он сбежал.

— Сбежал?

— Тсс. Если никто ничего не знает, то и ладно. Да, он удрал. Пару раз

уже звонил домой; говорит, скоро будет здесь. Диггс нам сразу сообщил — приезжал в тот же день, когда он сбежал.

— Ничего себе. Его ищут?

— Ангус говорит — да. А что, в новостях ничего не было? Я думал, может, ты чего слышал.

— Откуда... Нет, ну ни хрена себе! Думаешь, они оповестят народ в городе, если его не поймают?

— Не знаю. — Тут мне полагалось пожать плечами.

— А вдруг он так и не бросил собак поджигать? Черт, еще эти червяки... Помнишь, как он пытался скармливать их детишкам?.. Народ просто с ума сойдет.

По вибрации я понял, что он качает головой.

— Похоже, они хотят это дело замолчать. Наверно, все-таки надеются поймать его.

— Думаешь, поймают?

— А хрен его знает. Псих-то он псих, но не дурак. Иначе как бы он сбежал? Да и когда звонит, видно, что мозгов ему не занимать. Свихнутые, правда, качественно.

— Я смотрю, ты как-то не очень волнуешься.

— Надеюсь, он доберется. Неплохо бы его повидать. Да и вообще, хочется, чтоб он вернулся, потому что... Просто хочется. — Я отхлебнул пива.

— Черт. Лишь бы он больше ничего не натворил.

— Да уж. А ведь с него станется. Этого-то я и боюсь. Собак он, судя по всему, до сих пор терпеть не может. А вот детишкам вроде ничего не грозит, но все равно...

— А как он добирается? Он не сказал, на чем едет? Деньги у него есть?

— Сколько-то, наверно, есть, раз он звонит. Так-то все больше подворовывает.

— Ну-ну. По крайней мере, за побег из психушки срок не добавят.

— Это точно, — согласился я.

На сцене появилась группа — четверо панков из Инвернесса, звать «Блевотники». Вокалист, весь в цепях, молниях и с «ирокезом» на голове, схватил микрофон и, когда остальные трое принялись колошматить по своим инструментам, завопил:

Подруга свалила в чужие края,
С работы погнали, дrouch без понта...

Я поплотнее вжался спиной в колонну и продолжал потягивать пиво, а Джейми всюду наяривал пятками по моей груди, и весь пропитанный потом зал вибрировал в такт ревущей зубодробительной музыке. То-то еще будет!

В перерыве, пока один из барменов елозил шваброй по заплывшему полу перед эстрадой, я отправился к стойке наполнить стаканы.

— Как обычно? — спросил из-за стойки Дункан; Джейми кивнул. — А как Фрэнк поживает? — поинтересовался Дункан, наливая пинту светлого и пинту темного.

— Нормально, — ответил я. — А вы?

— Помаленьку, помаленьку. Тебе как, бутылки еще нужны?

— Нет, спасибо. Пока хватает. Новая партия уже, кстати, загружена, бродит.

— Но ты все равно заходи. Зайдешь?

— А как же.

Дункан протянул Джейми его стакан, я забрал свой и сразу выложил на стойку деньги.

— На здоровье, парни, — сказал Дункан, когда мы развернулись и направились к нашей колонне.

Несколько пинт спустя. «Блевотники» исполняют первый «бис». Мы с Джейми танцуем, подпрыгиваем на месте; он кричит, хлопает в ладоши и приплясывает у меня на плечах. Ради Джейми я не против потанцевать и с девушками; однажды, правда, он запросил меня выйти на улицу с одной дылдой, чтобы он мог с ней поцеловаться. Но стоило только подумать о ее сиськах, прижатых к моему лицу, и меня чуть не вырвало, так что я был вынужден его разочаровать. Да и вообще, панкерши как-то и духами не пахнут, и юбок не носят, разве что кожаные. Нас с Джейми то и дело толкали, пару раз чуть было не уронили, но до конца вечера мы дожили целы и невредимы. К сожалению, в итоге Джейми зацепился языком с какой-то девицей, но я слишком усердно пытался дышать поглубже и удерживать в фокусе противоположную стенку, так что мне было не до них.

— Вот, скоро чоппер покупаю. Двести пятьдесят кубиков, конечно, — хвастал Джейми.

Я едва слушал. Куда ему мотоцикл, он и до педалей-то не дотянется, но я бы все равно ничего не сказал, даже если б мог: на то ведь и телки, чтоб лапшу им вешать, а я все-таки его друг. Девица, когда я ее разглядел,

оказалась лет двадцати, пробу ставить некуда, а слоев краски на веках — сколько у «роллса» на дверцах. Она курила жуткую французскую сигарету.

— У моей соседки есть мотик, у Сью. «Сузуки-сто восемьдесят пять ЖТ», это ей брат отдал, но она копит на «голд-уинг».

Стулья уже составляли на столы, сметали в кучу мусор, треснувшие пластиковые стаканы, обмякшие пакетики из-под чипсов, а меня по-прежнему мучило. Чем больше я слушал девицу, тем кошмарней она казалась. Да еще этот ее жуткий выговор: небось откуда-нибудь с западного побережья; не удивлюсь, если из Глазго.

— Не-е, это не для меня. Слишком тяжелый. Вот полтыщи — самое то. От «мото-гуцци» я просто тащусь, но передача...

Черт, сейчас как обдам в полноцвете ее куртку, сквозь все тщательно обметанные прорехи, и молнии заржавеют, и в карманах долго еще будет хлюпать, и Джейми, наверно, при первом же термоядерном позыве улетит прямо в штабель пустой тары под колонками — а эти двое обмениваются пустыми байкерскими фантазиями, одна другой абсурдней.

— Курнуть хочешь? — предложила девица Джейми и махнула пачкой мимо моего носа.

Мне еще долго мерещились хвостатые звездочки на синем фоне, даже после того, как она сунула пачку в карман. Джейми, наверно, взял сигарету (хотя я знал, что он не курит), потому что перед глазами у меня защелкала зажигалка, разбрызгивая искры, словно бенгальский огонь. Я даже почувствовал, как у меня плавают затылочные доли. Подумал, не сострить ли насчет того, что курение ведет к задержке роста, но все линии связи в мозгу были забиты истеричными сигналами кишок. Что-то в моей утробе явно заваривалось и просилось наружу, и, в общем-то, даже без вариантов, через какой выход, но я не мог пошевелиться. Застрял, как аркбутан, между полом и колонной, а Джейми все нес какую-то пургу насчет рева «триумфовского» движка и как он гонял ночью вдоль берега Лох-Ломонда.

— Ты, типа, на каникулах?

— Ага, с подругами. У меня есть парень, нефтяник, но он сейчас на платформе, смена.

— А-а, ну ясно.

Я продолжал усиленно дышать, пытаюсь прочистить голову кислородом. Не понимаю я Джейми: он вдвое ниже меня, весит вдвое меньше, если не втрое, — но, сколько бы мы с ним ни пили, ему хоть бы хны. По крайней мере, на пол он втихаря не отливал — иначе я бы давно вымок. Тут я понял, что девица наконец меня заметила. Она ткнула меня в плечо — и, подозреваю, не в первый раз.

— Эй, — окликнула она.

— Ч-чего? — Меня аж передернуло.

— Ты в порядке?

— Угу, — медленно покивал я, надеясь, что она этим удовлетворится, затем отвел взгляд вверх и в сторону, как будто вдруг обнаружил на потолке нечто крайне важное и интересное; Джейми ткнул меня пяткой. — Ч-чего? — повторил я, даже не пытаясь к нему повернуться.

— Ты тут ночевать собрался?

— Чего?.. Нет. Ты как... готов? Ладно.

Я нащупал за спиной колонну, оттолкнулся и выпрямился, надеясь, что не поскользнусь на залитом пивом полу.

— Фрэнки, дружок, может, я лучше спущусь, а? — спросил Джейми и ткнул меня покрепче.

Я посмотрел куда-то вверх и вбок, вроде как на него, и кивнул. Соскользнул спиной по колонне до самого низа, пока не уперся задницей в пол. Девушка помогла Джейми спрыгнуть. Его рыжие волосы, спутавшиеся с ее выбеленными, вдруг полыхнули золотым блеском — это включили верхнее освещение. К нам приближался Дункан со шваброй и большим ведром, попутно опорожняя пепельницы; ему еще предстояло ликвидировать срач. Я дернулся встать и почувствовал, как Джейми с девушкой берут меня под руки, помогая подняться. В глазах все троилось, и я недоумевал: как такое возможно, если у тебя всего два глаза. Джейми и девушка что-то говорили, но я не понимал, это они мне или нет.

— Угу, — на всякий случай сказал я и тут осознал, что меня через пожарную дверь выводят на свежий воздух.

Мне срочно требовалось в туалет, и каждый шаг отдавался в кишках новыми спазмами. Собственное тело вдруг с ужасающей ясностью представилось мне в виде двух равновеликих емкостей: одна заполнена мочой, а другая — непереваренным пивом, виски, чипсами, арахисом, слюной, соплями, желчью и двумя кусками рыбы с картошкой. Какой-то больной участок моего мозга тут же вообразил яичницу-глазунью в венчике перекрученных полосок жареного бекона с озерцами остывшего жира на сальной тарелке. Я подавил подкативший к горлу жуткий позыв. Попытался подумать о чем-нибудь приятном, но в голову ничего не шло, и тогда я решил сосредоточиться на происходящем вокруг. От кабака мы еще далеко не отошли, шагали по тротуару мимо банка. Джейми держал меня под одну руку, девушка — под другую. Ночь стояла облачная, прохладная, и уличные фонари были окружены расплывчатыми ореолами. Потнопивной запах кабака успел выветриться, и я жадно вдыхал чистый воздух. Я

осознавал, что меня немного заносит, тыкался попеременно то в Джейми, то в девицу, но ничего не мог с этим поделать; я напоминал себе одного из этих динозавров, таких огромных, что их задние ноги фактически контролировались отдельным мозгом. У меня же, такое ощущение, было по отдельному мозгу на каждую конечность, только все они разорвали между собой дипломатические отношения. Короче, я ковылял в меру сил, полагаясь на удачу и на моих спутников. Честно говоря, на последних особо рассчитывать не приходилось: Джейми слишком мал ростом, чтобы удержать меня, когда я начну падать, ну а девица есть девица — что с нее взять. Слабовата небось, а если и нет, подозреваю, она только рада будет, коли я раскрою себе череп о поребрик: женщинам ведь нравится, когда мужчина беспомощен.

— Вы, вообще, всегда так? — поинтересовалась девица.

— Как «так»? — переспросил Джейми с недостаточным, на мой взгляд, негодованием в голосе.

— Ты на нем верхом.

— Да нет, это просто чтобы мне было лучше видно, как они там рубятся.

— И на том спасибо. А я уж думала, вы и в сральник так ходите.

— Конечно! Заходим в кабинку и ссым дуэтом: Фрэнки в унитаз, а я — в бачок.

— Ладно врать-то!

— Ей-богу, — провизжал Джейми, давясь от смеха. Я худо-бедно передвигал ноги и слушал весь этот мусор. Меня покорило оттого, что Джейми, хотя бы и в шутку, заговорил о том, как я хожу в сортир; знает ведь, что это мое больное место. Правда, раз или два ему все-таки удалось заманить меня поглазеть на это якобы увлекательнейшее состязание: как гоняют струей мочи размокшие окурки в писсуаре, на дальность.

Признаться, я наблюдал Джейми за этим занятием и был весьма впечатлен. Сортир в «Колдхейм-армз» прекрасно оборудован для этой забавы — там стоит длинный писсуар-желоб на полторы стены, с единственным сливным отверстием. По словам Джейми, цель игры заключается в том, чтобы пригнать размокший хобарик к сливу, развалив его по пути на максимально возможное количество частей. Очки насчитываются по числу кафельных плиток, которые минует окурков, прежде чем станет нетранспортабельным (плюс дополнительные очки, если загоняешь его в сливное отверстие или гонишь от дальнего края желоба), по степени причиненного ущерба — ведь крайне сложно размочить обугленный конус на кончике окурка, — а также по общему

количеству хобцов, обработанных таким образом в течение вечера.

Упрощенный вариант игры практикуется и в маленьких писсуарах индивидуального пользования, куда более распространенных нынче, но сам Джейми этого не пробовал, поскольку, чтобы воспользоваться таким писсуаром, ему надо отойти на метр и стрелять навесом.

Короче, ссать встоячку явно куда интереснее, но это развлечение не для меня — спасибо, злодейка судьба постаралась.

— Он что, брательник твой?

— Нет, просто друг.

— И всегда он в зюзю?

— Да каждую субботу.

Это, разумеется, чудовищная ложь. Я редко напиваюсь до такой степени, чтобы утратить координацию движений или дар речи. И уж как пить дать ответил бы Джейми чин по чину, не будь я настолько поглощен своим опорно-двигательным аппаратом. Прежнее ощущение, что меня вот-вот стошнит, прошло, однако все та же безответственная, деструктивная часть моего мозга — всего-то, может, несколько нейронов, но, полагаю, такие в каждом мозгу найдутся, а хулиганского элемента достаточно самого малочисленного, чтобы район в целом приобрел дурную славу, — продолжала думать об остывшей яичнице с беконом, и каждый раз меня чуть не выворачивало. Требовалось усилие воли, чтобы вообразить себе, например, прохладный ветер на вершине холма или волнистое песчаное дно на мелководье, игру света и теней на прибрежной глади — короче, то, что наиболее рельефно воплощает в моем представлении свежесть и ясность, — и таким образом отвлечь мозг от размышлений о содержимом моего желудка.

Впрочем, к этому времени мне стало совсем невтерпеж. Джейми с девицей находились буквально в нескольких дюймах, держали меня под руки, и я периодически наталкивался то на него, то на нее, — однако мое опьянение достигло такой стадии (как раз подошли две последние, чуть не залпом опрокинутые пинты лагеря с виски на прицепе), когда казалось, что докричаться совсем без шансов, все равно что с другой планеты. Джейми с девицей шли по разные стороны от меня и без усталости молили языками, несли полную ахинею с таким видом, как будто обсуждали что-то крайне важное, а я — имея гораздо больше мозгов, чем у них, вместе взятых, и информацию самого насущного свойства, — не мог вымолвить ни слова.

Но должен же быть какой-то способ. Я помотал головой, сделал несколько глубоких вдохов. Стал ступать ровнее, уверенней. Начал старательно думать о словах, о том, как их произносят. Пошевелил на

пробу языком, проверил гортань. Надо взять себя в руки. Любой ценой наладить контакт. На перекрестке я огляделся по сторонам и увидел табличку: «Юнион-стрит». Повернулся к Джейми, затем к девице, прочистил горло и хорошо поставленным голосом высказался:

— Не знаю, разделяли ли вы когда-нибудь — или, может, до сих пор еще разделяете, откуда мне, собственно, знать, хотя бы сугубо между собой, но уж никак не включая меня, заблуждение относительно смысла, который ваш покорный слуга некогда вкладывал в одно из слов на вон той вон табличке, но я всерьез полагал, что, исходя из общепринятой терминологии, слово «юнион» связано с тред-юнионизмом или, иными словами, с профессиональными объединениями рабочего класса, и поэтому меня чрезвычайно удивило, что отцы города сподобились дать улице такое социалистическое название: стало быть, еще не все потеряно в плане установления мира или хотя бы перемирия в классовой борьбе, если подобное признание роли профсоюзов могло быть зафиксировано в наименовании столь важной и почтенной транспортной артерии; однако вынужден признать, я недолго пребывал в этом печально оптимистичном заблуждении, из которого меня вывел отец — благослови Господи его чувство юмора, — когда объяснил мне, что на самом деле горсовет, а также местные власти сотен других городов по всей до недавнего времени административно независимой территории решили таким образом увековечить союз парламентов Англии и Шотландии, несомненно дабы извлечь из этого определенную выгоду, сопряженную со слиянием властных функций на раннем этапе.

Девушка взглянула на Джейми:

— Он что-то сказал?

— Да нет, пока только прокашлялся, — ответил Джейми.

— А по-моему, он сказал что-то о бананах.

— О бананах? — переспросил Джейми, глядя на нее в недоумении.

— Ну, — подтвердила она, глядя на меня и кивая. — Именно что.

Вот тебе и контакт, подумал я. Нажрались в дупель, что он, что она, — нормального человеческого языка не понимают. И я с тяжелым вздохом посмотрел сначала на одного своего провожатого, потом на другого. Тем временем мы неспешно брели по главной улице, мимо «Вулворта» и огней светофоров. Я буравил взглядом асфальт под ногами и лихорадочно соображал, что делать дальше. На следующем перекрестке я споткнулся о дальний поребрик и чуть не упал. До меня вдруг дошло, насколько уязвимы мои передние зубы и нос и что будет, если они придут в соприкосновение с гранитными портенейльскими тротуарами на скорости, сколько-нибудь

превышающей малую долю метра в секунду.

— А как-то мы с одним другом гоняли по горкам, где лесной заказник, миль полсотни нарезали, а то и быстрее, а там же трамплин на трамплине.

— Да ну!

Господи боже ты мой, они все еще о мотоциклах.

— И куда мы его такого?

— К моей маме. Если она еще не спит, напоит нас чаем.

— К маме?!

— Ага.

— Бр-р-р...

Меня вдруг осенило. Это было настолько очевидно, что даже не знаю, почему я раньше не догадался. Я понимал, что время не терпит и стесняться смысла нет, а то ведь взорвусь, и точка, — так что я стряхнул с себя Джейми с девицей и, пригнув голову, бросился бежать. Меня вдохновлял пример Эрика; сбегу подальше, найду укромный уголок и спокойно проссусь.

— Фрэнк!

— Да в бога-душу-мать! Что вообще за дела?

Тротуар тихо-мирно расстился у меня под ногами, которые двигались более-менее как положено. Я слышал крики бежавших за мной Джейми с девицей, но уже миновал старую закусочную и военный мемориал и теперь набирал скорость. Переполненный мочевого пузырь несколько притормаживал меня, но отнюдь не так сильно, как я опасался.

— Фрэнк! Вернись! Остановись, Фрэнк! Да что случилось? Фрэнк, псих ненормальный, шею же свернешь!

— Да пусть бежит, на хрена он тебе сдался?

— Отстань, он мой друг! Фрэнк!!!

Я повернул на Банк-стрит, чуть не снес два фонарных столба и вильнул влево, на улицу Адама Смита, к «Автосервису Макгарви». Вбежал, тормозя каблуками, во двор и метнулся за заправочный автомат; я задыхался, безостановочно икал, в висках стучало. Присел на корточки, спустил штаны и, тяжело дыша, уперся спиной в «пятизвездочный» автомат, и по шершавому асфальту в бензиновых подтеках разлилась большая пахучая лужа.

Топот — и справа появилась темная фигура. Подняв голову, я увидел, что это Джейми.

— Уф-ф-ф... — пропыхтел он, пытаясь отдышаться, и облокотился одной рукой на соседний автомат, а другой оперся о колено; грудь его

тяжело вздымалась. — Вот ты где... кхе... кхе... Фух...

Он присел на бетонное основание и уставился в темное стекло подсобки. Я подпирал автомат, выжимая из себя последние капли. Потерял равновесие и приложился задом к бетону, нетвердо поднялся и натянул штаны.

— Что это на тебя нашло? — спросил Джейми, все еще задыхаясь.

Я махнул рукой и попробовал застегнуть ремень. От прокуренной одежды пахло кабаком, и меня снова замутило.

— Прр-брр-э-а...

Я хотел сказать «прости», но слово обернулось рвотным позывом. Все та же антиобщественная часть моего мозга внезапно вспомнила об остывшей яичнице с беконом, и желудок изверг фонтан. Я перегнулся пополам, сотрясаемый спазмами; кишки перекручивались морскими узлами, причем абсолютно самопроизвольно, — так, наверно, чувствует себя женщина с ребенком во чреве. В горле тут же засадило, настолько реактивным был выплеск. Джейми поймал меня, иначе я бы упал. Так я и стоял, перегнувшись, будто наполовину открытый складной нож, и оглашал заправку надсадным блёвом. Одной рукой Джейми придерживал меня сзади за ремень, чтобы я не рухнул мордой во все это художество, а другую положил мне на лоб и что-то успокаивающе бормотал. Меня продолжало выворачивать, в животе возникла резь; из глаз и носа текло, вся голова была словно перезрелый помидор, вот-вот лопнет. Между позывами я пытался перевести дыхание, утирал рот, кашлял — и тут же снова извергался. Я слушал эти кошмарные звуки, так похожие на те, что производил по телефону Эрик, и надеялся, что никто не пройдет и не увидит меня в таком беспомощном, недостойном виде. Я затих, почувствовал себя лучше; начал вновь и почувствовал себя стократ хуже. Сдвинулся при помощи Джейми в сторону и встал на четвереньки на сравнительно чистом участке бетона, где бензиновые пятна выглядели не такими свежими. Харкнул, откашлялся, перевел дыхание и упал на руки Джейми, подтянув колени к подбородку, чтобы унять боль в мышцах живота.

— Получше? — спросил Джейми.

Я кивнул, чуть подался вперед и уронил голову на колени. Джейми похлопал меня по спине:

— Потерпи минутку, Фрэнки.

Через несколько секунд он вернулся с ворохом шершавых бумажных полотенец и половиной обтер мой рот, а другой половиной — лицо. Даже не поленился выбросить потом в урну.

Хотя опьянение не прошло, живот болел, а в горле словно ежи подрались, чувствовал я себя не в пример лучше.

— Спасибо, — выдавил я и попробовал встать. Джейми помог мне подняться.

— Ну ты, Фрэнк, даешь.

— Угу, — отозвался я, вытер глаза рукавом и оглядел двор — удостовериться, что мы по-прежнему одни. Разок-другой я хлопнул Джейми по плечу, и мы направились к улице.

Вокруг — ни души; я с трудом переставлял ноги и старался дышать глубже, а Джейми придерживал меня за локоть. Девушка, естественно, испарилась, но я об этом ничуть не жалел.

— Чего это ты так ломанулся?

— Да вот надо было... — И я мотнул головой.

— Чего? — хохотнул Джейми. — А просто сказать не мог, что ли?

— Не мог.

— Только из-за девушки?

— Нет, — ответил я и закашлялся. — Вообще говорить не мог. Перепил.

— Чего? — рассмеялся Джейми.

— Угу, — кивнул я.

Он снова хохотнул и покачал головой. Мы пошли дальше.

Мама Джейми еще не спала и налила нам чая. Она женщина крупная и всегда ходит в зеленом халате, когда я вижу ее вечером после «Колдхейм-армз», то есть чуть ли не каждую субботу. С ней не так уж и неприятно, хоть она и делает вид, что относится ко мне куда радушней, чем на самом деле (уж я-то знаю).

— Ах ты, бедняжка, совсем с лица спал. Садись-ка вот сюда, сейчас поставлю чай. Ох-ох-ох, ну как же так...

Меня усадили в кресло в углу гостиной муниципального дома, а Джейми тем временем вешал наши куртки. Я слышал, как он подпрыгивает в прихожей.

— Спасибо, — прохрипел я пересохшим горлом.

— Ну вот, другое дело. Может, обогреватель включить? Тебя не знобит?

Я помотал головой, тогда мама Джейми улыбнулась, кивнула, потрепала меня по плечу и уплыла на кухню. Вошел Джейми и сел на кушетку рядом с моим креслом. Глянул на меня, ухмыльнулся и покачал головой.

— Ну и ну. Ну и ну! — Он с хлопком сцепил руки в замок и стал

качаться вперед-назад, ноги его не доставали до пола; я закатил глаза и отвел взгляд. — Ничего, Фрэнки. Пара чашек чая, и будешь как новенький.

— Угу, — выдавил я и содрогнулся.

Ушел я около часа ночи, слегка протрезвевший и залитый чаем по самые гланды. Боль в животе и горле почти прошла, но хрипы оставались. Пожелав Джейми и его маме спокойной ночи, я вышел окраиной на дорожку, ведущую к острову. Темнота была хоть глаз выколи, и я иногда включал фонарик, пока не добрался до моста.

На болоте, в дюнах и на пастбище было абсолютно тихо, только трава шелестела у меня под ногами да иногда с далекого шоссе доносился приглушенный рев тяжелых грузовиков. Едва ли не все небо было затянуто тучами, луна почти не давала света, а прямо по курсу — и совсем не давала.

Я вспомнил, как два года назад в середине лета возвращался в сумерках по тропинке, после того как целый день лазил в предгорьях за городом, и увидел в сгущающейся тьме далеко над островом странные движущиеся огни. Те мигали, неловко покачивались, переплывали с места на место и сияли на удивление тяжелым, плотным светом, как никогда не бывает в воздухе. Я навел на них бинокль, и порой в отсветах мне мерещились какие-то окружающие их конструкции. Меня пробрал озноб, я напряг соображение, лихорадочно пытаюсь найти разгадку. Покрутил головой в сумраке и опять уставился на эти далекие, совершенно беззвучные столбы мерцающего пламени. Они висели в небе, словно огненные лики, взирающие на остров, словно кто-то терпеливо ждущий.

Потом меня осенило. Я все понял.

Это был мираж, отражение в воздушных слоях над морем. Я видел газовые факелы буровых платформ, находящихся, может, за сотни километров от берега, в Северном море. Приглядевшись к окружающим огни смутным силуэтам, я уверился, что это действительно вышки, эпизодически высвечиваемые собственными газовыми отблесками. Я радостно двинулся дальше — даже радостней, чем до того, как увидел странное видение, — и мне пришло в голову, что любой человек с менее развитыми логикой и воображением тут же решил бы, что это НЛО.

В конце концов я добрался до острова. В доме — ни огонька. Я обвел взглядом его черную массу, едва оконтуренную в неровном лунном свете, и подумал, что сейчас он кажется даже больше, чем на самом деле, словно голова каменного великана: огромный череп, полный призраков и

воспоминаний, белеет в лунных лучах и глядит в море, венчая огромное сильное тело, погребенное под песком и камнями, готовое по условному сигналу высвободиться, стряхнуть наслоения.

Дом глядел в море, глядел во тьму; я отворил дверь и вошел.

Крошку Эсмерельду я убил потому, что чувствовал — таков мой долг перед самим собой, да и перед миром. В конце концов, я расправился с двумя детьми мужского пола, оказав тем самым женской половине человечества своего рода статистическую услугу. Если уж быть последовательным, думал я, равновесие необходимо хотя бы отчасти восстановить. Моя кузина являла собой всего лишь простейшую, наиболее очевидную цель.

Опять же, против нее лично я ничего не имел. Дети еще не люди, то есть их нельзя считать маленькими мужчинами или женщинами; скорее, это отдельный вид, и с течением времени из них могут (по всей вероятности) вырасти мужчины или женщины. Совсем малыши, не успевшие еще поддаться тлетворному влиянию общества и родителей, считай что бесполы и вполне достойны обожания. Я обожал Эсмерельду (хотя, конечно, имечко уж больно слюнявое) и подолгу играл с ней, когда они приезжали в гости. Она была дочкой Хармсуорта и Мораг Стоув, моих дяди и тети со стороны отцовской первой жены; это они приглядывали за Эриком, когда он был маленький. Иногда они приезжали к нам в летний отпуск из своего Белфаста; папа неплохо ладил с Хармсуортом, а так как я присматривал за Эсмерельдой, все могли отдыхать в свое удовольствие. Кажется, миссис Стоув немного нервничала, доверяя мне свою дочку тем летом, ведь это было через год после того, как я сразил Пола во цвете лет, однако в свои девять я был жизнерадостен, общителен, хорошо воспитан и демонстрировал неподдельную скорбь, когда заходила речь о печальной судьбе моего младшего брата. Уверен, лишь чистая совесть позволила мне убедить взрослых, что я ни в чем не виноват. Я даже осуществил двойной блеф: в меру, не усердствуя, изображал вину *не по тому поводу*, и взрослые говорили мне, мол, не стоит казниться, что не успел вовремя предупредить братика. Ай да я!

Я решил, что попробую убить Эсмерельду, еще до того, как они приехали в отпуск. Эрик отправлялся со своим классом в турпоход, так что на острове мы с ней будем одни. Конечно, это рискованно — всего-то через год после гибели Пола, но я должен был как-то восстановить равновесие. По крайней мере попытаться. Это терзало и жгло меня, пронизывало до печени. словно безудержный зуд; или как если, например, иду я в

Портенейле по мостовой и случайно шаркну пяткой по брусчатке — так я обязательно должен шаркнуть и второй пяткой примерно с такой же силой, чтобы чувствовать себя нормально. То же самое — если задену плечом стенку или там афишную тумбу: надо как можно скорее задеть ее и вторым плечом или, на худой конец, поскрести плечо рукой. Поддержание равновесия — это мой пунктик, даже не знаю почему. Так надо, и все тут; поэтому я во что бы то ни стало должен был расправиться с какой-нибудь женщиной, качнуть весы в другую сторону.

В тот год я увлекся воздушными змеями. Дело было, если не изменяет память, в семьдесят третьем. Какие только материалы я не использовал: тростник и шпонку, железные платяные вешалки, дюралевые стойки для палаток, бумагу и полиэтилен, мусорные мешки, холщовку, бечеву, нейлоновые веревки, шпагат и различные пряжки-застежки, шнурки и резинки, проволоку, винты и штифты, гвоздики и всевозможные детальки расчлененных игрушек, судомоделей и так далее. Я сделал ворот с двойной ручкой и стопором и с барабаном на полкилометра троса; я делал всевозможные хвосты для змеев, которым был нужен хвост, и десятки собственно змеев, больших и маленьких, некоторые даже были управляемые. Я хранил их в сарае, и когда коллекция слишком уж разрослась, то пришлось выставить велосипеды на улицу под брезент.

В то лето я часто брал Эсмерельду с собой запускать змеев. Вручив ей какой-нибудь самый простой и маленький, я вооружался управляемым змеем и выписывал вокруг Эсмерельдиногo фигуры высшего пилотажа. Стоя на вершине дюны, я выводил змея на бреющий полет, срезал специально выстроенные башни из песка и снова уводил его ввысь, так что за змеем струился, опадая, песчаный шлейф. А однажды, хотя это потребовало долгих тренировок и пары аварий, я даже обрушил при помощи змея дамбу. Раз за разом я выводил его на такую траекторию, чтобы прочертить углом рамы борозду поперек гребня плотины, и наконец углубил борозду настолько, что стала просачиваться вода и быстро хлынула потоком, смыв всю дамбу вместе с песчаной деревней.

И вот в один прекрасный день стоял я на вершине дюны и боролся с ветром, подтягивал змея и перехватывал, оценивал снос и натяг, травил и захлестывал бечеву и вдруг представил, как она захлестывается вокруг шейки Эсмерельды. У меня тут же родился план.

Я невозмутимо обдумал его, делая вид, что на уме у меня по-прежнему лишь воздушно-змеиная навигация, и решил, что план вполне реальный. По ходу обдумывания первоначальная идея облеклась плотью, заиграла мышцами и приняла окончательный вид немезиды моей кузины. Тогда я,

помнится, широко улыбнулся и повел змея на бреющем полете; тот прочертил резкий зигзаг по воде и песку, выброшенным водорослям и бурлящему прибою, вильнул на ветру, встал дыбом и по касательной зацепил саму Эсмерельду. Та сидела на вершине дюны и судорожно подергивала веревочку, соединявшую ее с небом. Эсмерельда обернулась, расплылась в улыбке и радостно взвизгнула, щурясь от солнца. Я тоже рассмеялся, радуясь тому, как лихо я контролировал и воздушный океан, и сумбур земных мыслей.

Я построил большого змея.

Он был настолько огромен, что даже не поместился в сарай. Каркас я изготовил из дюралевых палаточных стоек — какое-то их количество я давно обнаружил на чердаке, остальные раскопал сейчас на городской свалке. И если сначала я думал обтянуть каркас черными помойными мешками, то остановился в итоге на палаточном брезенте, тоже с чердака.

Для ворота, усиленного и снабженного нагрудным упором, я изготовил специальный барабан, на который наматывалась толстая рыболовная леса из оранжевого нейлона. Хвост змея состоял из скрученных журнальных страниц (я тогда выписывал «Оружие и боеприпасы»). Красной краской на брезенте я изобразил большую собачью голову (тогда я еще не знал, что я не Пес). Отец давным-давно говорил мне, что я родился под знаком Пса, так как в тот момент прямо над нами стоял Сириус. В любом случае голова была лишь символом.

Однажды утром я встал очень рано, едва рассвело, пока все остальные дрыхли без задних ног. Зашел в сарай, взял змея, отправился далеко в дюны, собрал его, заколотил в землю палатный колышек, привязал к нему оранжевую лесу и какое-то время погонял змея на короткой бечеве. Даже на легкой ветерке напрягаться приходилось изрядно. Я аж вспотел, и руки болели, несмотря на толстые сварочные рукавицы. Сойдет, решил я и стал сматывать бечеву.

Во второй половине дня ветер усилился, но так же дул в сторону моря, и мы с Эсмерельдой отправились на традиционную прогулку, прихватив из сарая разобранного змея. Она помогла мне оттащить комплект подальше в дюны и послушно прижимала к своей плоской грудке бухты тросов и ворот, щелкая стопором барабана. Я остановил выбор на дюне, которая заведомо не была видна из дома и напоминала голову великана: покатый лоб устремлен к Дании или Норвегии, шуршащая трава — как ежик волос.

Пока я с приличествующей случаю торжественной медлительностью собирал змея, Эсмерельда собирала цветы. Насколько я помню, она с ними разговаривала, убеждала не прятаться, дать себя сорвать, вплести в букет.

Ветер дул со спины и развеивал перед лицом Эсмерельды светлые пряди ее волос; она бегала, приседала на корточки, ползала на четвереньках и что-то лепетала, а я продолжал сборку.

Наконец змей был полностью готов и лежал на траве, как опавшая палатка, — зеленое на зеленом. Растянутая материя дрожала и хлопала в порывах налетающего ветра, казалась живой, а собачья морда на ней — свирепо оскаленной. Я распутал оранжевую леску, узелок за узелком, и подозвал Эсмерельду.

Она принесла в кулачке букетик цветов, и я терпеливо ждал, пока она все их перечислит, выдумывая собственное название в том случае, если забыла или никогда не знала настоящее. Церемонно поклонившись, я принял подаренную маргаритку и засунул в петельку на клапане левого нагрудного кармана. Я сказал Эсмерельде, что собрал нового змея и что она может помочь мне его испытать. Она была в восторге и попросила дать ей подержать за веревочку. Может быть, может быть, сказал я, но только подержать; управлять все равно буду я. А можно, спросила она, я буду держать в другой руке букетик. Я подумал и сказал, что да, наверно; если очень попросит.

Эсмерельда восхищенно ходила вокруг, и ахала, и охала — какой он большой и какой злой на нем песик. Змей лежал на шуршащей траве, словно нетерпеливый гигантский скат, и дрожал мелкой дрожью. Я нащупал главные управляющие тросы и вручил Эсмерельде, показал, как их держать и где. Пояснил, что сделал специальные петли, чтобы она не выпустила веревку. Эсмерельда просунула руки в витые нейлоновые кольца и крепко стиснула левую леску, а в правом кулачке она держала и леску, и букетик. Я сматал свою часть управляющих тросов и подошел к змею. Эсмерельда нетерпеливо подсакивала на месте. Ну скорее, говорила она, скорее запускай. Я последний раз огляделся и пинком приподнял верхний угол змея, и этого было достаточно — он поймал ветер. Я бежал за моей кузиной, глядя, как выбирается слабина между ней и быстро поднимающимся змеем.

Змей ринулся ввысь, будто за ним черти гнались. Он встряхнулся, и с треском рвущегося картона забил хвостом, и расправил свои полые косточки. Я отставал от Эсмерельды на полшага, удерживал тросы прямо за ее веснушчатыми локотками и ждал рывка. И дождался — слабина выбралась полностью. Чтобы устоять на месте, я изо всей силы уперся каблуками в песок. При этом чуть не сшиб Эсмерельду, и она взвизгнула. Она выпустила тросы, когда первый резкий рывок натянул леску, и теперь то смотрела вверх, то оглядывалась на меня, а я что было сил пытался

совладать с мощью воздушной стихии. Эсмерельда попрежнему сжимала букетик, и от моих манипуляций руки ее дергались в петлях, как у марионетки. Ворот я прижимал к груди, удерживая сгибом локтя. Эсмерельда последний раз оглянулась на меня и хихикнула, я тоже рассмеялся. Потом отпустил леску.

Ворот стукнул ее в спину, и она вскрикнула. Затянувшиеся петли дернули ее вперед, сбили с ног. Я же пошатнулся и отлетел назад — на всякий пожарный случай, вдруг свидетели все-таки найдутся. Впрочем, выпустив ворот, я действительно потерял равновесие и упал на землю — в тот самый момент, когда Эсмерельда покинула ее навсегда. Под напором ветра змей хлопал и щелкал, щелкал и хлопал и увлекал мою кузину в небо, вместе с воротом и всем, так сказать, такелажем. Секунду-другую я полежал на спине, глядя им вслед, а потом вскочил и понесся вдогонку — со всех ног, так как прекрасно понимал, что теперь ничего не изменишь. Эсмерельда вопила во всю мощь своих маленьких легких и отчаянно сучила ножками, но нейлоновые петли безжалостно врезались ей в запястья, змей неся по воле ветра, и она заведомо была вне моей досягаемости, даже если бы я хотел ее поймать.

А я все бежал и бежал, я скатился с дюны по обращенному к морю склону и смотрел, как змей уносит крошечную фигурку все дальше и дальше. Крик и плач доносились уже на пределе слышимости, их скрадывал вой ветра в ушах. Ее несло над песком, над камнями, к открытому морю, а я бежал вниз, подгоняемый адреналином, и смотрел, как раскачивается под ее дрыгающимися сандаликами застопоренный ворот.

Она поднималась выше и выше, а я бежал вниз и отставал от ветра, от змея. Расплескал лужицы у самого моря, вбежал в воду по колено. И в этот самый момент от Эсмерельды что-то отделилось — на первый взгляд какой-то комочек, но потом он рассыпался. Я подумал было, что она описалась, но тут передо мной пролился красочный дождь, и воду усеяли цветы. Там было еще мелко, я добрал дотуда и собрал их, сколько мог; периодически я отвлекался от своей странной жатвы и вскидывал голову. Змея уносило в Северное море. Мне пришло в голову, что, если ветер продержится, она вполне может достичь противоположного берега и упасть уже там, но я решил, что даже при таком исходе я сделал все, что мог, и честь была спасена.

Ее фигурка делалась меньше и меньше, и я наконец развернулся и побрел к берегу.

Я понимал, что три смерти за четыре года, и каждый раз рядом со

мной, — это должно быть подозрительно, и я заранее тщательно выработал линию поведения. Сразу к дому я не побежал, а поднялся в дюны и сел на траву, стискивая мокрый букетик. Я пел себе песенки, рассказывал сказки, оголодал, покатался немного по песку, измазал физиономию и вообще всячески старался настроиться на ужасное для ребенка столь нежных лет состояние. Я так и сидел там до раннего вечера, пока на меня не наткнулся молодой лесничий.

Лесничий был из поисковой партии, организованной Диггсом, когда папа и родственники хватились нас, не смогли найти и вызвали полицию. Он вышел из-за гребня дюны насвистывая, рассеянно рубая веточкой клочковатые поросли травы и тростника.

Я никак на него не отреагировал. Смотрел перед собой, весь дрожал и стискивал цветочки. Лесничий сообщил о находке остальным членам поисковой партии, те вызвали папу с Диггсом — но на них я тоже не отреагировал. В итоге вокруг столпились десятки людей, они разглядывали меня, сыпали вопросами, чесали в затылке, косились на часы и смотрели по сторонам. Я ни на кого не реагировал. Они снова выстроились в цепочку и возобновили прочесывание, а меня отнесли в дом. Мне предложили суп — до боли желанный, но я отказался — и опять задавали вопросы, на которые я отвечал немым ступором. Меня трясли дядя и тетя с полными слез глазами, но я все равно не реагировал. Наконец папа отнес меня в мою спальню, раздел и уложил в постель.

Всю ночь кто-то сидел у моей кровати, и кто бы это ни был — отец, Диггс или кто-то еще, — я устроил им (и себе) веселую ночку. Какое-то время я лежал тихо, притворяясь, будто сплю, и вдруг вопил как оглашенный, падал с кровати, бился на полу в судорогах. Каждый раз меня поднимали, утешали и водворяли обратно в постель. Каждый раз я притворялся, будто снова засыпаю, и через несколько минут опять устраивал концерт по полной программе. Если кто-то из них со мной заговаривал, я оставался глух и нем, и только дрожал под одеялом, и буравил их пустым невидящим взглядом.

Так я продолжал до рассвета, пока не вернулась поисковая партия — без Эсмерельды, и только тогда позволил себе уснуть.

Я неделю приходил в чувство, и это была лучшая неделя в моей жизни. Вернулся из своего турпохода Эрик, и вскоре после его возвращения у меня развязался язык: поначалу был сплошной бред, затем бессвязные намеки на то, что случилось, затем непереносимые вопли и кататония.

Где-то в середине недели ко мне ненадолго пустили доктора

Макленнана — Диггс отменил папин запрет на то, чтобы меня лечил или осматривал кто-либо, кроме него самого. И все равно папа оставался в комнате, гневно и подозрительно зыркал из угла, следя, чтобы осмотр не перешел определенные рамки; я был рад, что он не позволил доктору осмотреть меня полностью, и в благодарность стал понемногу приходить в себя.

К концу недели я еще продолжал изредка разыгрывать ночные кошмары, симулировать внезапный ступор и озноб, но ел я более или менее нормально и на большинство вопросов отвечал вполне связно. Разговоры об Эсмерельде и ее судьбе по-прежнему провоцировали мини-припадки, вопли и краткую кататонию, но после долгих терпеливых расспросов я позволил папе и Диггсу узнать заготовленную для них версию событий: большой змей; Эсмерельда запутывается в тросах; я пытаюсь помочь ей — и ворот выскальзывает у меня из пальцев; отчаянный бег; дальше — пробел.

Я говорил им, что, наверно, я злой дух, что я несу смерть и несчастье родным и близким; говорил, что боюсь, как бы меня не посадили в тюрьму: люди же наверняка думают, что это я убил Эсмерельду. Я рыдал и обнимал отца, я даже обнял Диггса, зарылся носом в жесткую синюю шерсть его мундира и буквально ощутил, как полицейский растаял, поверил мне. Я попросил его забрать из сарая всех моих змеев и сжечь, что он и сделал в ближайшей ложбинке; теперь эта ложбинка называется очень длинно и торжественно — Лощина Погребального Костра Воздушных Змеев. Мне было жалко змеев, и я понимал, что для пущей убедительности должен буду навсегда отказаться от этой забавы, — но оно того стоило. Эсмерельду так и не нашли; я был последним, кто ее видел, — судя по тому, что ни один из запросов, которые Диггс разослал на рыболовные траулеры и буровые вышки, результатов не дал.

В итоге я уравнил счет и вдобавок целую неделю пролицедействовал в свое удовольствие, пусть даже и по необходимости. Цветы, которые я продолжал стискивать, когда меня принесли в дом, извлекли из моих пальцев, сунули в полиэтиленовый пакет и оставили на холодильнике. Там я их и обнаружил две недели спустя — увядшие, забытые и незамеченные. как-то ночью я перенес их в чердачное святилище, где и храню до сих пор, — коричневые растеньица в стеклянной бутылке, засохшие и перекрученные, похожие на старую изоляцию. Иногда я подумываю, где все-таки кузина встретила свой конец: на дне морском, или на диком скалистом берегу, куда ее выбросило волнами, или высоко в горах, расклеванная

орлами и чайками...

Хотелось бы все-таки думать, что умерла она в полете, влекомая исполинским змеем, что она летала над миром, поднимаясь все выше и выше, умирая от голода и обезвоживания, становясь легче и легче, пока не превратилась в крошечный скелетик, дрейфующий в струйных воздушных течениях, — этакая Летучая Голландка. Но сомневаюсь, чтобы столь романтический образ в какой-либо мере соответствовал истине.

Почти все воскресенье я провел в постели. После вчерашних излишеств мне требовался покой, побольше питья, поменьше еды и чтобы поскорее прошло похмелье. Я хотел было тут же дать себе зарок никогда больше не напиваться, но потом решил, что в моем юном возрасте это, пожалуй, не слишком реально, и тогда я дал зарок никогда больше так не напиваться.

Поскольку я не вышел к завтраку, отец сам поднялся ко мне:

— Что это с тобой? Хотя все и так ясно.

— Ничего, — прохрипел я в сторону двери.

— Ну да, как же, — саркастически хмыкнул отец. — И сколько же тебя вчера угораздило выхлестать?

— Не так уж много.

— Ну-ну.

— Я скоро спущусь, — сказал я и, перекатываясь с боку на бок, заскрипел кроватью, как будто уже встаю.

— Это ты вчера звонил?

— Что-что? — Я даже перестал скрипеть.

— Так, значит, ты. Я так и думал. Чего это тебе взбрело вдруг голос исказить? Что вообще за срочность звонить в такой час?

— Э-э... честное слово, пап, не припомню, чтобы я звонил, — осторожно проговорил я.

— Ну-ну. Совсем без мозгов, — проворчал отец и зашаркал по коридору.

А я лежал и думал. Я был более или менее уверен, что не звонил домой вчера вечером. Сначала мы с Джейми были в кабаке, потом вышли с девицей на улицу, потом я рванул в забег, потом опять с Джейми, потом у его мамы, а домой шел уже почти трезвый. Ни единого белого пятна. Значит, наверно, это Эрик. Судя по всему, он почти сразу повесил трубку, иначе папа узнал бы собственного сына. Я лежал в кровати и надеялся, что Эрик по-прежнему на свободе и движется в нашу сторону, а также что голова и живот перестанут напоминать мне, какие резервы боли скрывают.

— Ты только посмотри на себя, — сказал папа, когда я наконец спустился. — Небось гордишься собой. Небось думаешь, это удел всех настоящих мужчин. — Он с досадой покачал головой и опять углубился в свой «Сайентифик америкэн».

Я осторожно опустился в одно из больших кресел.

— Ну ладно, пап, ладно — вчера я немного перепил. Прости, если тебе это неприятно. А мне-то каково!

— Надеюсь, это послужит тебе уроком. Ты хоть понимаешь, сколько серых клеточек вчера прикончил?

— Не одну тысячу, — ответил я, прикинув на пальцах.

— По меньшей мере! — с воодушевлением закивал отец.

— Впредь постараюсь воздерживаться.

— Ну-ну.

— Фр-р-р, — громко высказался мой анус, и мы с отцом удивленно вздрогнули.

Папа отложил журнал и, хитро улыбаясь, уставился в пространство над моей головой. Я кашлянул и как можно незаметнее помахал полый халата.

Папа хищно повел носом, ноздри его затрепетали.

— Лагер и виски, — удовлетворенно констатировал он и снова забаррикадировался глянцевыми страницами.

Я почувствовал, что краснею, и заскрежетал зубами. И как это у него выходит? Я сделал вид, что ничего не произошло.

— Да, кстати, — вспомнил я. — Надеюсь, ты не будешь сердиться. Я рассказал Джейми, что Эрик сбежал.

Отец гневно зыркнул поверх журнала, покачал головой и продолжал читать.

— Идиот, — буркнул он.

Вечером, скорее перекусив, чем поев, я поднялся на чердак и оглядел остров через подзорную трубу — проверить, не случилось ли чего, пока я был на постельном режиме. Вроде все спокойно. Сгущались тучи. Я немного прогулялся, вдоль берега до южной оконечности и обратно, потом засел у телевизора. Вскоре под напором ветра задрожали стекла и хлынул ливень.

Телефон зазвонил, когда я уже лег. Я быстро выскочил из постели, так как сна не было еще ни в одном глазу, и стремглав скатился по лестнице,

чтобы опередить отца. Не знаю, спал он уже или нет.

— Да? — пропыхтел я в трубку, заправляя пижамную рубашку в пижамные штаны.

После характерного пиканья послышался тяжелый вздох:

— Нет.

— Чего? — нахмурился я.

— Нет, — повторил голос на том конце.

— А?.. — Я еще не был уверен, что это Эрик.

— Ты сказал «да», я сказал «нет».

— И что ты хочешь услышать?

— Скажи «Портенейль пятьсот тридцать один».

— Ладно. Портенейль пятьсот тридцать один. Алло?

— Ладно. Пока.

Хихиканье, отбой. Я с укором взглянул на трубку, положил ее на рычаг и нерешительно замер. Телефон зазвонил снова. Я схватил трубку на первом же звонке.

— Да?.. — начал я, но меня заглушило бибиканье. Дождавшись, пока отбибикает, я произнес: — Портенейль пятьсот тридцать один.

— Портенейль пятьсот тридцать один, — повторил Эрик; во всяком случае, я думал, что это Эрик.

— Да, — сказал я.

— Что «да»?

— Да, это Портенейль пятьсот тридцать один.

— А я думал, *это* Портенейль пятьсот тридцать один.

— Нет, это. А кто говорит? Это ты?..

— Это я. Так, значит, Портенейль пятьсот тридцать один?

— Да! — заорал я.

— А это кто?

— Фрэнк Колдхейм, — стараясь держать себя в руках, произнес я. — А это кто?

— Фрэнк Колдхейм, — ответил Эрик.

Я огляделся, но папы не было ни на верхнем пролете лестницы, ни на нижнем.

— Привет, Эрик, — с улыбкой сказал я и пообещал себе, что, как бы ни сложилась беседа, не стану его сердить. Лучше уж повешу трубку, чем ляпну что-нибудь не то, иначе он как пить дать расколошматит очередную собственность министерства почт и телеграфов.

— Я же только что сказал — это Фрэнк. Почему ты называешь меня Эрик?

— Ну хватит, Эрик. Я узнал твой голос.
— Я — Фрэнк. Перестань называть меня Эрик.
— Хорошо, хорошо. Буду называть тебя Фрэнк.
— А ты-то кто? Я задумался.
— Эрик? — осторожно предположил я.
— Ты же только что сказал, что ты Фрэнк.
— Н-ну... — Я прислонился к стенке, не зная, что и сказать. — Это...
это была просто шутка. Ну... не знаю.

Я хмуро уставился на телефон, ожидая, что скажет Эрик.
— Ну, Эрик, — произнес Эрик, — что там у вас новенького?
— Да почти ничего. Вчера вот в город выбирался вечером, в «Колдхейм-армз». Ты вчера не звонил?
— Я? Нет.
— А, ну ладно. Папа говорил, что кто-то звонил. Я думал, вдруг это ты.

— Зачем мне звонить?
— Ну не знаю, — пожал я плечами (хотя он, конечно, этого видеть не мог). — Затем же, зачем сегодня звонишь. Мало ли зачем.
— Ну а как по-твоему, зачем я сегодня звоню?
— Понятия не имею.
— Господи Иисусе! Не знаешь, зачем я звоню, собственное имя забыл, мое путаешь. Ну и бестолочь.
— Боже милостивый, — пробормотал я, не в трубку, а себе под нос. Разговор сворачивал куда-то не туда.
— Не хочешь спросить, как я поживаю?
— Да-да, — сказал я, — и как ты поживаешь?
— Ужасно. А ты?
— Спасибо, ничего... А что там у тебя такого ужасного?
— Тебе-то что?
— Как «что»? Я же за тебя волнуюсь. Так в чем дело?
— Тебе это все равно не интересно. Спроси лучше, какая тут погода или где я, — в общем, что-нибудь в таком духе. Все равно ведь тебе до меня дела нет.

— Как это нет? Ты же мой брат. Конечно есть! — возмутился я.
Тут я услышал, как открывается дверь кухни, и через секунду у подножия лестницы появился отец. Он ухватил большой деревянный шар, венчающий последнюю балясину, склонил голову набок, чтобы лучше слышать, и впериł в меня гневный взгляд. Поэтому я пропустил часть Эрикова ответа и услышал только:

— ...до меня дела нет. Каждый раз, когда я звоню, все одно и то же: «Где ты?» Только это тебя и волнует — где мое тело. А на голову наплевать. Не знаю даже, зачем я с тобой тут время теряю. Честное слово, не знаю. Мог бы и вообще не звонить.

— Хм, ну да. Вот, собственно... — протянул я и, глядя на отца, улыбнулся.

Тот молча стоял на прежнем месте.

— Вот видишь, о чем я? Что от тебя еще услышишь — все «хм» да «ну да». Спасибо тебе, братец, охуенное спасибо. Вот и вся твоя забота.

— Да нет, что ты. Совсем наоборот, — ответил я, потом чуть отвел трубку ото рта и прокричал: — Пап, это опять Джейми!

— ...не знаю даже, зачем только время теряю... — бубнил в трубке Эрик, пропустив мои слова мимо ушей. Папа тоже их проигнорировал и стоял в прежней позе.

Я облизнул губы:

— Ну что тебе сказать, Джейми...

— Чего?.. Вот видишь! Опять забыл, как меня зовут. Ну и какой тогда смысл? Вот что интересно! Смысл какой, а? Он меня не любит. Но ты-то ведь любишь, правда? — Голос его стал тише и в то же время более гулким, как будто он говорил не в трубку, а кому-то, кто был с ним в будке.

— Конечно, Джейми, конечно. — Я кивнул отцу, улыбнулся и сунул ладонь под мышку, изображая полную непринужденность.

— Ты-то меня любишь, золотце, верно? Прямо сгораешь от любви, сердечко-то вон так и пылает... — бубнил в отдалении Эрик.

Я сглотнул и опять улыбнулся отцу.

— Ничего не попишешь, Джейми. Так я и папе сегодня утром сказал; а вот, кстати, и он. — Я помахал отцу.

— Сердечко так и сгорает от любви, верно, золотце мое? Верно, малипусик?

Сквозь бормотанье Эрика донеслось чье-то частое пыхтение — и мое сердце ухнуло в пятки. Тихий скулеж, причмокивание — и я весь покрылся гусиной кожей. Меня заколотил озноб. В голове поплыло, как после доброго глотка пятидесятиградусного виски. Пыхтение — скулеж, пыхтение — скулеж... Эрик продолжал бубнить какие-то слова утешения. Бог ты мой, да с ним там собака! О нет, только не это.

— Ладно тебе! Послушай! Послушай, Джейми! Что скажешь? — воскликнул я в отчаянии. Интересно, мелькнуло у меня в голове, видна ли папе снизу моя гусиная кожа. И выпученные глаза. Но тут уж я ничего не мог поделать, надо было лихорадочно соображать, как отвлечь Эрика. — Я

просто... просто я думал, что надо... надо бы еще разок напрячь Вилли с его драндулетом. Здорово тогда рассекали в дюнах, помнишь? — Я начал сипеть, в горле пересохло.

— Чего? Ты это о чем? — прогремел вдруг голос Эрика, теперь он снова говорил в трубку.

Я сглотнул и опять улыбнулся отцу — глаза его вроде слегка сузились.

— Да ну, Джейми, помнишь ведь? Классный у Вилли драндулет! Надо бы упросить папу, пока он здесь, — (эти слова я прошипел), — чтобы купил какую-нибудь малолитражку б/у. Лучше бы, конечно, полнопривод...

— Что за чушь. Я никогда не катался в дюнах на машине. Ты меня опять с кем-то путаешь, — произнес Эрик, до которого никак не доходило.

Я отвернулся от папы, уставился в угол и, тяжело вздохнув, прошептал в сторону от трубки: «О боже!»

— Ну да, Джейми, точно, — продолжал я уже без надежды на успех. — А братец мой все еще в бегах, — похоже, сюда направляется. Мы *тут с папой* надеемся, что все у него в порядке.

— Ах ты, гаденыш! Так говоришь, словно меня тут нет. Как я это ненавижу! А вот ты бы никогда так со мной не поступила, любовь моя пламенная, правда?

Его стало почти не слышно, и опять донеслись собачьи звуки — даже, пожалуй, щенячьи. Меня прошиб пот.

Внизу послышались шаги, щелкнул кухонный выключатель. Снова шаги, теперь — по лестнице. Я быстро повернулся, улыбнулся приближающемуся отцу.

— Джейми, опять ты за свое! — воскликнул я в сердцах и иссяк, в буквальном смысле и в переносном.

— Поменьше бы на телефоне висел, — бросил на ходу отец и стал подниматься к себе.

— Хорошо, пап, я скоро! — весело крикнул я, начиная ощущать туповатую боль в районе мочевого пузыря, — так иногда бывает, когда ситуация совсем паршивая, а выхода не найти, хоть ты тресни.

— А-ау-у-у!

Я отдернул трубку от уха и уставился на нее в недоумении. Кто ж это так взвыл — Эрик или собака?

— Алло? Алло? — лихорадочно зашептал я, глядя вслед удаляющейся Тени Отца; та вильнула и пропала за углом.

— Га-уа-у-у-у-уа-а-а-у-у-у! — надрывалась трубка. Я вздрогнул и поморщился. Бог ты мой, что он там вытворяет с этой животиной? Потом в трубке что-то громко звякнуло, я услышал окрик (явное ругательство) и

снова звук удара.

— Ах ты, тварь! Уй! Да чтоб тебя! Вернись, подлюка!..

— Алло! Эрик! То есть Фрэнк! То есть... Алло! Что происходит? — шипел я, прикрывая трубку рукой и озираясь, не маячит ли на стене верхней площадки Тень Отца. — Алло?

Дребезжание, выкрик в самую трубку: «Это все ты виноват!» — затем грохот. Ненадолго в отдалении проявились звуки, но как я ни напрягал слух — так и не разобрал, что это было; может, просто помехи на линии. Не повесить ли трубку, подумал я и чуть было уже не повесил, когда снова зазвучал голос Эрика — неразборчивое бормотание.

— Алло? Что там у тебя? — спросил я.

— Ты еще здесь? Удрала, подлая тварь. И все из-за тебя. Не человек, а тридцать три несчастья.

— Прости, — отозвался я, причем искренне.

— Поздно. Укусила меня, сучка. Ничего, все равно поймаю гадину. — Пиканье, звон монеток. — А ты небось и рад, а?

— Чему рад?

— Тому, что чертова псина сбежала, придурок.

— Кто? Я?

— Не хочешь же ты сказать, что жалеешь, что она сбежала, а?

— Э-э...

— Ты это специально! — завопил Эрик. — Специально! Ты хотел, чтоб она удрала! Жалко, если я с ней поиграю? Жалко, да? Пусть лучше собака развлекается, да? Ах ты мудила! Бестолочь паршивая!

— Ха-ха, — неубедительно хохотнул я. — Ну спасибо, что позвонил, э-э... Фрэнк.

Я бросил трубку и перевел дыхание, поздравляя себя с тем, что держался молодцом, с учетом всех обстоятельств. Вытер лоб, слегка взмокший, и напоследок бросил взгляд на чистую, без единой тени, стену верхней площадки.

Покачав головой, я побрел вверх. И только добрался до верхней ступеньки, как снова зазвонил телефон. Я окаменел. Если я отвечу... Но если не отвечу, а трубку возьмет папа...

Скатившись вниз, я сцапал трубку и услышал звон падающих в монетоприемник монет, потом: «Скотина!!!» — и серия оглушительных ударов, грохот пластмассы о железо и стекло. Я закрыл глаза и слушал эту какофонию, пока один особо увесистый «кряк!» не завершился басовитым гудением; телефоны так обычно не гудят. Тогда я повесил трубку, обернулся, посмотрел, что делается наверху, и снова побрел к себе.

Мне не спалось. Скоро я буду вынужден прибегнуть к кое-каким дальнобойным методам урегулирования. Иначе никак. Придется повлиять на ситуацию непосредственно через первопричину всего — Старого Сола. Средство требовалось сильнодействующее, пока Эрик единолично не разнес всю Шотландскую телефонную сеть и не проредил популяцию псовых. Впрочем, сперва надо будет посоветоваться с Фабрикой.

В сущности, моей вины тут нет, но я втянут в это дело целиком и полностью и, если повезет, сумею все исправить — при помощи Фабрики и черепа старого пса, ну и, конечно, удачи. Насколько братец чувствителен к моим вибрациям — это большой вопрос, особенно учитывая состояние его головы, но я должен что-то сделать.

Надеюсь, щенку все-таки удалось удрать. Черт побери, я же ведь не виню в случившемся всех собак чохом! Преступник — Старый Сол, это он вошел в нашу семейную историю и мою личную мифологию как Кастратор, но благодаря перелетным (через речку) зверькам я подчинил его себе целиком и полностью.

Нет, все-таки Эрик псих какой-то, хотя он и мой брат. Ему еще повезло, что у него есть кто-то нормальный, кому он небезразличен.

Когда Агнес Колдхейм, будучи на девятом месяце беременности, приехала на своем «BSA-500» с красным глазом Саурана на бензобаке и скошенным назад рулем, то отец, как нетрудно догадаться, от счастья не обезумел. Она ведь бросила его почти сразу после моего рождения, оставила с грудным ребенком на руках. И за три года — ни тебе открытки, ни телефонного звонка. А после этого — вот так промчаться с ревом по песчаной дорожке, затем через мост, едва вписавшись резиновыми ручками руля между стойками опоры, и заявиться с неизвестно чьим ребенком в брюхе, а то и не одним, и рассчитывать, что отец приютит ее, обогреет, накормит и примет роды, — по-моему, это несколько самонадеянно.

Мне тогда было всего три года, и я почти ничего не помню. На самом деле я об этом вообще ничего не помню — равно как и ни о чем другом до трехлетнего возраста. Впрочем, у меня есть на то свои причины. По тем крохам информации, что иногда позволял себе обронить отец, я восстановил более-менее убедительную картину происшедшего. Порой миссис Клэмп тоже добавляла кое-какие детали, хотя, пожалуй, верить ей можно не больше, чем отцу.

Эрика тогда не было, он жил в Белфасте у Стоувов.

Агнес, огромная, загорелая, в ярком восточном платье и с ног до головы в бусах, вознамерилась рожать в позе «лотос» (в которой, по ее словам, и был зачат ребенок) и бубня «ом», а на все отцовские расспросы, где, мол, она была эти три года и с кем, отвечать категорически отказалась. И потребовала, чтобы он умерил частнособственнические инстинкты в отношении ее тела. Она прекрасно себя чувствует и беременна, остальное ему знать не обязательно.

Невзирая на отцовские протесты, Агнес обосновалась в их старой спальне. Быть может, в глубине души он был рад, что она вернулась, и даже лелеял безумную надежду, что она останется, — не могу сказать. Не уверен, что он такая уж сильная личность, хотя и напускает на себя мрачную задумчивость, когда хочет произвести впечатление. Подозреваю, маминой целеустремленности было более чем достаточно, чтобы с ним совладать. Во всяком случае, она своего добилась и провела две недели в неге и роскоши — тем пьянящим летом любви и мира и т. д.

Тогда еще ноги служили отцу исправно, и он резво курсировал между кухней, гостиной и спальней по разным поручениям Агнес, стоило той позвонить в колокольчики, пришитые к бахrome ее клешей, висевших на спинке стула возле кровати. Вдобавок отец должен был присматривать за мной. Я шастал где ни попадя, всюду совал свой нос, проказничал и бедокурил — как и положено любому здоровому трехлетке.

Повторяю, сам-то я ничего не помню, но, говорят, я обожал дразнить Старого Сола — дряхлого криволапного белого бульдога, которого отец якобы потому и держал, что тот был такой уродливый и не любил женщин. Мотоциклов он тоже не любил и, когда приехала Агнес, разъярился не на шутку — рычал, набрасывался, брызгал слюной. Агнес пинком вышвырнула его за ограду, и он с тывканьем убежал в дюны и не появлялся, пока она не засела в спальне всерьез и надолго. Миссис Клэмп утверждает, что советовала отцу избавиться от псины за много лет до происшествия, но подозреваю, что слюнявый, пропахший рыбой зверь с гнойными слезящимися глазками импонировал отцу именно своим уродством.

В один из душных летних дней сразу после полудня у Агнес начались схватки; обливаясь потом, она сидела в позе «лотос» и гудела себе «ом», в то время как отец кипятил воду и готовил инструмент, а миссис Клэмп промокала Агнес лоб и, по всей вероятности, потчевала ее историями о знакомых женщинах, которые умерли при родах. Я играл в саду, бегал в одних шортах и — полагаю — был только рад всей этой суматохе, потому что, свободный от родительской опеки, мог делать все, что заблагорассудится.

Чем я так разозлил Старого Сола — или это он от жары очумел, или, может, Агнес в день приезда действительно пнула его в голову, как утверждает миссис Клэмп, — понятия не имею. Но такой шустрый, вихрастый, чумазый, загорелый крепыш, как я, запросто мог затеять с псиной какую-нибудь шалость.

Дело было в саду, на участке, где впоследствии отец посадил овощи, когда помешался на здоровой пище. Мама вовсю пыхла и тужилась — до разрешения от бремени оставался примерно час, — папа и миссис Клэмп были при ней, когда все трое (или хотя бы двое: Агнес наверняка было не до того) услышали из сада бешеный лай и долгий пронзительный вопль.

Отец бросился к окну, выглянул в сад и с криком вылетел из комнаты, оставив миссис Клэмп в полнейшем недоумении.

Он выбежал в сад и подхватил меня на руки. Бросился в дом, крикнул миссис Клэмп, уложил меня на кухонном столе и попытался остановить кровотечение полотенцами. Миссис Клэмп, ничего не понимая и весьма

негодуя, принесла затребованное средство и чуть не бухнулась в обморок, увидев, что творится у меня между ног. Отец забрал у нее чемоданчик и велел вернуться наверх, к матери.

Через час я пришел в сознание. Я лежал в постели, накачанный болеутоляющим и без кровинки в лице, а отец отправился с дробовиком (потом он его выкинул) на поиски Старого Сола.

Нашел он его через пару минут, — собственно, не выходя из дома. Пес дрожал и скулил у подвальной двери в полумраке под лестницей, моя юная кровь на его слюнявых вонючих челюстях смешивалась с желтой слизью из уголков глаз; он поднял свою трясущуюся башку и умоляюще оскалился на моего отца, который вытащил его из укрытия и задушил.

В конечном итоге мне удалось вытянуть из папы эту историю — и, по его словам, в тот самый момент, когда Старый Сол испустил последний вздох, раздался другой крик, на этот раз сверху, из дома, — родился мальчик, которого назвали Полом. Не знаю уж, какая извращенная мысль посетила тогда отца, что он выбрал для ребенка такое имя, но своего нового сына Ангус назвал Полом. Выбирать ему пришлось самостоятельно, поскольку Агнес надолго у нас не задержалась. Два дня она провалялась в постели, ужаснулась тому, что произошло со мной, затем оседлала мотоцикл и укатила. Отец пытался остановить ее, загородив путь, но она сшибла его на подъезде к мосту и сломала ему ногу.

Так и получилось, что миссис Клэмп пришлось выхаживать отца, в то время как он пытался выхаживать меня. Он упорно не позволял миссис Клэмп вызывать каких бы то ни было докторов и сам наложил шину на свою ногу — отнюдь не идеально, отсюда и хромота. На следующий день после маминого отъезда миссис Клэмп была вынуждена отдать новорожденного в ближайший медпункт. Отец пытался возражать, но миссис Клэмп резонно заявила, что ей достаточно возни и с двумя инвалидами в доме — не хватало еще младенца, которому необходим постоянный уход.

Это был последний визит моей матери, больше она ни разу не появлялась ни в доме, ни на острове. Результаты визита: одна смерть, одно рождение, двое на всю жизнь калеки (в том или ином смысле). Неплохой счет за две летние недели — летом обалденной психоделической любви, мира и всеобщей доброты.

Старого Сола похоронили на склоне за домом; позже я назвал это место Уголком Черепов. Отец утверждает, что разрезал ему брюхо и нашел в желудке крошечные гениталии, но он так и не признался, что с ними сделал.

Разумеется, Пол — это и был Сол.^[3] Враг оказался настолько хитер, что переселился в младенца. Вот почему отец выбрал моему новому брату такое имя. Мне просто повезло, что я вовремя это заметил и принял меры, пока Пол был еще маленький, а то кто знает, в кого бы он мог вырасти, одержимый душой Сола. Но удача, буря и ваш покорный слуга в сумме дали Бомбу, и его песенка была спета.

Что же до зверюшек — песчанок, белых мышей и хомяков, — то они должны были пасть грязной топкой смертью, дабы я мог разыскать Череп Старого Сола. Я выстреливал их из катапульты через речку в прибрежный ил для того, чтобы можно было устроить похороны. Иначе отец никогда бы не позволил мне перекопать наше семейное кладбище домашних животных — вот и пришлось невинным зверюшкам покинуть юдоль скорби в не шибко благородном наряде из половины воланчика. Воланчики я покупал в городском спортивном магазине, отрезал резиновую попку и просовывал негодующего «подопытного кролика» (однажды я действительно использовал лабораторную морскую свинку, но они слишком дорогие, да и крупноваты) в пластмассовую воронку, словно в белую юбочку. В таком, с позволения сказать, оперении я выстреливал ими через речку, и они задыхались в прибрежном иле у дальнего берега; затем я устраивал похороны, используя в качестве гробов большие спичечные коробки, которые мы держали у печки. У меня собрался внушительный запас коробков, и я хранил в них солдатиков, строил из них домики и так далее.

Папе я сказал, что исследую вопросы дальноточности, а заодно пытаюсь помочь зверькам попасть на «материк»; те же, что не долетели, те, которых я хороню, — это жертвы научного эксперимента. Хотя можно было, наверно, обойтись и без предлога: страдания низших форм жизни отца никогда не волновали, несмотря на его хиппанское прошлое и, возможно, благодаря его медицинскому образованию.

Естественно, я вел дневник, так что у меня зафиксировано: потребовалось аж тридцать семь испытательных полетов, прежде чем моя верная лопата, вгрызаясь в земляную кожу Уголка Черепов, наткнулась на что-то более твердое, чем песчаная почва, и я наконец узнал, где спрятаны собачьи кости.

Конечно, здорово было бы произвести эксгумацию черепа ровно через десять лет после смерти пса, день в день; на самом же деле я опоздал на несколько месяцев. Тем не менее Год Черепа завершился тем, что мой старый враг оказался в моих руках; костяной горшочек был при свете фонаря извлечен из земли лопатой Верный Удар, словно очень гнилой зуб,

и произошло это, соответственно, темной, ненастной ночью, мрак стоял непроглядный, отец спал в доме, как полагалось бы и мне, ревела буря, шумел дождь, и сотрясались небеса.

Я и сам трясся, когда волок эту штуковину в Бункер, навоображал себе всяких параноидальных ужасов, но в конечном итоге справился; дотащил грязный череп, обмыл его, вставил в него свечу и окружил мощной магией, важными вещами и благополучно возвратился, мокрый и продрогший, в теплую постельку.

Так что, с учетом всех обстоятельств, справился я, пожалуй, неплохо, решил свою проблему в той степени, в какой ее вообще можно было решить. Враг мой умер дважды — и все равно пребывает в моей власти. Я не являюсь полноценным мужчиной, и тут уж ничего не попишешь; но я — это я, что вполне можно считать достойной компенсацией. А поджигать собак — это полный бред.

До того как осознать, что птицы — это иногда союзники, я поступал с ними довольно сурово: ловил, сбивал из рогатки, привязывал к столбам перед самым приливом, подкладывал в их гнезда бомбы с электрическим детонатором, ну и так далее.

Моя любимая игра заключалась в том, чтобы поймать — сетью, на приманку — двух птиц и связать их вместе. Как правило, это были чайки; я связывал их за ноги толстой лесой из оранжевого нейлона, потом садился на ближайшую дюну и наблюдал. Иногда я брал чайку и ворону, но в любом случае птицы быстро понимали, что толком лететь не могут — хотя, вообще говоря, веревка была достаточно длинной, — и в конечном итоге (после нескольких номеров утомительно неуклюжей воздушной акробатики) переходили к драке.

Когда один из противников погибал, то победитель — как правило, раненый — обнаруживал, что тяжелый труп ничуть не лучше живого противника. Наиболее решительные могли отклевать у трупа ногу, но большинство были на это не способны или не могли додуматься и ночью доставались крысам.

Игр у меня много, но эта всегда представлялась мне одной из наиболее зрелых моих забав — в чемто символичной, тонко сочетающей иронию с бездушием.

Во вторник утром я ехал на велосипеде в город, и какая-то птица нагадила на Гравий. Я остановился, окинул испепеляющим взглядом круживших чаек и пару-тройку дроздов, нарвал травы и стер желто-белую дрянь с переднего крыла. День выдался ясный и солнечный, дул легкий ветерок. На ближайшую неделю прогноз был тоже благоприятный, и я надеялся, что хорошая погода продержится до прибытия Эрика.

Мы с Джейми встретились в «Колдхейм-армз», как договаривались, и сели за один из игровых автоматов.

— Если он такой псих, не понимаю, почему тогда его до сих пор не поймали, — сказал Джейми.

— Я же говорил — псих-то он псих, но очень хитрый. И вовсе не тупой. Башка у него всегда отлично варила, с самого детства. Читать начал очень рано, и все дяди и тети вечно ахали и охали — умный, мол, не по

годам. Это еще до моего рождения.

— Но он же все равно сумасшедший.

— Ну да, так говорят. Хотя я не уверен.

— А как же собаки? И червяки?

— Да, это пахнет дурдомом, согласен, но иногда я думаю: а вдруг тут что-то не так и никакой он не псих вовсе? Может, ему просто обрыдло вести себя нормально, вот он и стал строить из себя психопата, а в дурдом его упекли, потому что он зашел слишком далеко.

— И теперь он на них безумно зол, — оскалился Джейми и отхлебнул пива, пока я уничтожал снующие туда-сюда разноцветные кораблики на экране.

— Да уж наверно, — рассмеялся я. — Хотя черт его знает. Может, он действительно псих. Может, и я псих. Может, все кругом психи. По крайней мере в моем семействе.

— Вот это другой разговор!

Я оторвался от экрана, секунду-другую поглядел на Джейми и улыбнулся:

— А что, папочка мой тот еще чудила. Я, впрочем, тоже. — Я повел плечами и снова сосредоточился на космической баталии. — Но меня это не волнует. Кругом полно куда более ненормальных психов.

Джейми какое-то время сидел молча, а я громил в экранной кутерье одну космическую эскадру за другой. Наконец везение кончилось, и меня прижали к ногтю. Я сел пить пиво, а Джейми пристроился пострелять. Когда он пригнул голову, сосредоточившись на игре, я заметил, что он начинает лысеть. А ведь ему всего двадцать три. Он снова напомнил мне марионетку, с этой своей непропорционально большой головой и короткими, словно обрубленными, ручками и ножками, которыми он дрыгал от натуги, когда орудовал джойстиком или жал на гашетку.

— Да, — вздохнул он, не переставая отстреливаться, — а ведь многие из них становятся политиками, премьерами и уж не знаю кем там еще.

— Чего-чего? — спросил я, не понимая, о чем он.

— Да эти, которые еще более ненормальные. Им бы лишь покомандовать — президенты там, генералы, жрецы какие-нибудь... Есть ведь совсем полоумные.

— Да уж пожалуй, — задумчиво проговорил я, следя за ходом боя на экране. — А может, они-то как раз самые что ни на есть нормальные. Ведь это у них вся власть и деньги. Это они заставляют всех плясать под свою дудку — умирать за них, работать на них, голосовать за них, защищать их, платить налоги и покупать им игрушки; только они и выживут после новой

мировой войны в своих бункерах и тоннелях. А при таком раскладе — да кто вообще сказал, что они психи, если поступают не так, как следовало бы по мнению какого-нибудь Джона Смита? Думай они, как Джон Смит, ну и были бы этими Джонами Смитами, а все радости жизни достались бы кому-нибудь другому.

— Выживают сильнейшие.

— Ну да.

— Выживают... — Джейми со свистом втянул воздух и с такой силой дернул джойстик на себя, что чуть не упал с табурета, но сумел каким-то чудом увернуться от мельтешащих желтых молний, загнавших его в угол экрана, — мерзейшие. — Он мельком взглянул на меня, улыбнулся и опять сгорбился над джойстиком.

Я кивнул, отхлебнул пива.

— Можно и так, если угодно. А раз выживают мерзейшие, значит, все мы в такой заднице сидим...

— Все мы в чем-то Джоны Смиты, — высказался Джейми.

— Ага, причем поголовно. Весь род человеческий. Если мы действительно такие злые и тупые, что готовы закидать друг друга всеми этими расчудесными водородными и нейтронными бомбочками, то, может, и к лучшему, если мы коллективно покончим с собой, прежде чем лезть в космос измываться над какими-нибудь инопланетянами.

— Так это мы, значит, и будем — Космические захватчики?

— Ха! И правда! — засмеялся я и чуть не свалился с табурета. — Ведь это и впрямь мы! — хохотал я, тыча в экран чуть выше строя красно-зеленых крылатых хреновин, одна из которых захлопала крыльями, отделилась от стаи и спикировала на кораблик Джейми, паля из всех стволов. Выстрелы прошли мимо, но она задела Джейми крылом, прежде чем скрылась за нижним обрезом экрана, и его кораблик исчез в ослепительной красно-желтой вспышке.

— Вот черт, — сокрушенно покачал он головой.

Я подался вперед, ожидая, когда выплывет мой кораблик.

Я крутил педали, возвращаясь на остров; в голове слегка шумело от выпитых трех пинт. Что ни говори, а приятно было потрепаться с Джейми за ленчем. Субботними вечерами мы тоже, конечно, разговариваем, но, когда играют, ничего не слышно, а после концерта я такой ужратый, что лыка не вяжу, а если и вяжу, то все равно ничего потом не помню. Впрочем, если подумать, то, может, оно и к лучшему — судя по тому, в каких грубых, самоуверенных, напыщенных идиотов превращаются разумные вроде бы

люди и какую тарабарщину начинают нести, стоит молекулам алкоголя в их крови превысить число нейронов, или как-то так. К счастью, это бывает заметно, только когда ты сам трезвый, так что решение проблемы столь же приятно (по крайней мере, непосредственно в тот момент), сколь и очевидно.

Когда я вернулся, отец спал в шезлонге перед домом. Я завел велосипед в сарай и немного понаблюдал за отцом под прикрытием двери; тогда если он проснется, то подумает, будто я только-только появился и закрываю дверь. Голова его была чуть склонена в мою сторону, рот приоткрыт. Глаза под темными очками зажмурены.

Мне надо было срочно отлить, так что стоял я там недолго. Не то чтобы у меня была какая-то особенная причина за ним наблюдать; просто мне это нравилось. Приятно было думать, что я могу его видеть, а он меня нет и что я бодрствую и в полном сознании, а он нет.

Я отправился в дом.

Весь понедельник, наскоро проверив с утра Столбы, я занимался ремонтом Фабрики, а заодно внес кое-какие усовершенствования. Я работал, пока не устали глаза, и спустился, только когда отец позвал обедать.

Вечером полил дождь, так что я никуда не выходил, торчал перед телевизором. Лег я рано. Эрик не позвонил.

Отлив примерно половину пива, выпитого в «Колдхейм-армз», я снова поднялся глянуть на Фабрику. На чердаке было тепло и солнечно, пахло старыми интересными книжками, и я решил немного прибраться.

Я рассортировал старые игрушки по коробкам, закрепил отошедшие обои и коврик, прикнутил несколько карт на косую потолочную балку, убрал на место инструменты и запчасти, оставшиеся после ремонта Фабрики, и зарядил те ее компоненты, которые нуждались в подзарядке.

По ходу дела я раскопал массу всего любопытного: деревянную астролябию, которую вырезал сам, чем, помнится, очень гордился, сборную модель византийских крепостных укреплений, остатки коллекции изоляторов с телеграфных столбов и старые блокноты — того времени, когда папа учил меня французскому. Проглядев их, я не обнаружил откровенного вранья; никаких тебе ругательств вместо «Извините» или «Вы не подскажете, как пройти к вокзалу?» — хотя, подозреваю, устоять перед подобным искушением было не так-то просто.

Я завершил уборку и немного расчихался из-за плясавших в

солнечных лучах золотистых пылинок, которые попадали в нос. Еще раз осмотрел посвежевшую Фабрику; я вообще люблю ее разглядывать, трогать руками, люблю слегка качнуть рычажки, воротца и прочие устройства. Наконец я заставил себя оторваться, подумав, что скоро все равно представится случай задействовать ее как положено. Поймаю днем свежую осу — а завтра утром и задействую. Я хотел до возвращения Эрика задать Фабрике еще несколько вопросов: надо иметь хоть какое-то представление о том, чего ждать.

Конечно, было несколько рискованно дважды спрашивать об одном и том же, но, по-моему, исключительные обстоятельства меня оправдывали, да и, в конце концов, это же моя Фабрика.

С осой проблем не было. Она, можно сказать, добровольно заползла в ритуальную баночку из-под джема. Я сунул ей вслед несколько листьев, а также шмоток апельсиновой кожуры на закуску и закрыл специальной крышкой с дырочками. Пристроил в тенечке на речном берегу и занялся плотиной.

Денек выдался солнечный, и я быстро взмок на своих гидротехнических работах; папа тем временем собирался красить оконные переплеты на задней веранде, а оса, шевеля усиками, исследовала содержимое банки.

Закончив дамбу примерно наполовину — не самый удачный момент, — я подумал, что было бы забавно сделать ее подрывной. Я устроил водослив, сбегал к сараю за Вещмешком, вернулся и выбрал из бомбочек с электрическими детонаторами самую маленькую. Примотал оголенные концы проводов, торчавшие из просверленного в ее корпусе отверстия, к проводам бывшего фонарика, а ныне взрывной машинки и, засунув бомбочку в два полиэтиленовых мешка, прикопал ее в основании первой дамбы. Провода я вывел за плотину, за недвижную воду верхнего бьефа, почти к тому месту, где я оставил банку с осой. Для пущей натуральности забросал провода песком и продолжил строить плотину.

Гидротехнический комплекс в итоге вышел исполинским, целый каскад плотин, и деревушек было две: одна между плотинами, другая — ниже по течению за последней плотиной. Я выстроил мосты и автострады, замок с четырьмя башнями и два автодорожных тоннеля. В аккурат перед пятичасовым чаем я размотал на всю длину провод из корпуса бывшего фонарика и перенес банку с осой на верхушку ближайшей дюны.

Отсюда я видел отца — тот продолжал вырисовывать бордюры вокруг окон веранды. Если очень напрячься, я могу вспомнить, как был когда-то

выкрашен фасад дома, его обращенный к морю лик; уже тогда рисунки были поблекшие — пусть второстепенная, но безусловная классика кислотного искусства, если, конечно, память мне не изменяет: огромные спирали и мандалы, разбросанные по фасаду словно «техничолорные» татуировки, вихрились вокруг окон и огибали входную дверь. Реликты отцовского хиппанского прошлого, они давно уже стерты — ветром и морем, дождем и солнцем. Если долго вглядываться, можно различить смутный контур да кое-где чудом уцелевшие цветные пятнышки, похожие на шелушащуюся кожу.

Я раскрыл корпус фонарика, вставил батарейки, надежно их закрепил и лишь тогда нажал кнопку. Ток потек последовательно с импульсом от девятивольтовой батарейки, примотанной к корпусу; провода выходили из отверстия, где когда-то была лампочка, и вели, заброшенные песком, к вмурованной в плотину бомбочке. Где-то в ее середине накалился фрагмент металлической мочалки — сперва тускло, затем ярче, докрасна — и, начав плавиться, воспламенил белую кристаллическую смесь, которая взорвалась и разворотила железный корпус (а сколько я потел у тисков, придавая отрезку трубы надлежащую форму!), словно бумажный.

Ба-бах! — вскинулся над главной плотиной грязный фонтан песка, воды, газа и пара и стал дробно осыпаться. Взрыв прозвучал мощно и глухо, а за мгновение до него я ощутил сидалищем вибрацию почвы, резкую и четкую.

Подброшенный взрывом песок осыпался с плеском в воду, кучками шлепался на дороги и дома. Густая коричневая струя хлынула сквозь пробоину и обрушилась на первую деревню, пропахала ее насквозь и стала переполнять водохранилище перед второй плотиной, снося песчаные домики, подмывая укрепления замка и его уже покосившиеся башни. Не выдержали мостовые опоры, и деревушка плюхнулась одним концом в воду, которая начала уже переливаться через гребень второй плотины (напор-то был — ого-го, равно как и перепад — полсотни метров под уклон) и наконец смыла замок к чертовой матери.

Я оставил банку и, ликуя, сбежал по склону дюны; поток катился, разделяясь на ветвящиеся ручьи, смывал дома, неся по дорогам и тоннелям и, достигнув последней плотины, играючи перехлестнул ее — и ринулся на вторую деревню. Повсюду рушились дамбы, осыпались дома, падали мосты и схлопывались тоннели, берега и те не выдерживали; я озираю картину разрушения, и к горлу подкатила волна сладкого восторга.

Длинный хвост проводов колыхался в воде на периферии потока. Я проводил взглядом волновой фронт, стремительно катящийся к морю по

давно не знавшему воды песку. Затем уселся по-турецки напротив того места, где была первая деревня, а теперь перекашивались коричневые валы, и, упершись локтями в колени, а подбородком в ладони, стал ждать, пока уляжется волнение. Мне было тепло и хорошо, только немного посасывало под ложечкой. Когда вода спала и от моей многочасовой работы не осталось, можно сказать, и следа, я наконец обнаружил то, что искал: серебристо-черные зубцы развороченной бомбы торчали из песка чуть ниже по течению от взорванной плотины. Не снимая башмаков, я опустился на четвереньки, уперся носками в сухой берег и, перебирая по дну ладонями, достиг цели — вытянувшись при этом над водой чуть ли не в полный рост. Выдернул останки бомбы из песка, осторожно зажал в зубах, стараясь не порезаться, и пошлепал на руках в обратный путь; пришлепал, резко оттолкнулся и встал на ноги.

Я протер зазубренный, почти плоский кусок металла ветошкой из Вещмешка, упрятал железяку под молнию, забрал баночку с осой и отправился к дому на чаепитие, перепрыгнув через ручей чуть выше того места, до которого нагнал воду своими запрудами.

Вся наша жизнь состоит из символов. Каждый наш поступок укладывается в систему, которая хотя бы отчасти зависит от нас самих. Сильные личности выстраивают свои системы самостоятельно и влияют на чужие системы, тогда как слабые пляшут под чью-то дудку. Слабые, невезучие и глупые. Осиная Фабрика тоже часть системы, поскольку самым тесным образом связана с жизнью и — даже в большей степени — со смертью. Подобно жизни, она сложна и содержит множество компонентов. Она умеет отвечать на вопросы, потому что любой вопрос — это начало поиска конца, а Фабрика — воплощение Конца с большой буквы: смерти, ни больше ни меньше. Оставьте себе ваши потроха, палочки из тысячелистника, кости и книги, птиц и голоса, прочую лабуду; у меня есть Фабрика, она посвящена будущему и настоящему, а не прошлому.

Вечером я лежал в постели, зная, что Фабрика настроена и готова и только ждет осы, которая деловито ползает в банке у моей кровати. Я думал о Фабрике на чердаке у меня над головой и ждал, когда зазвонит телефон.

Осиная Фабрика прекрасна и смертоносна; она — идеал. Она подскажет мне, чего ждать, намекнет, как следует поступить, а, посоветовавшись с ней, я попробую связаться с Эриком при помощи черепа Старого Сола. Мы же братья, в конце-то концов, пусть даже только наполовину, и оба мужчины, хотя я лишь наполовину. В глубине души мы понимаем друг друга, хотя он псих, а я нормальный. И вот еще что нас

объединяет — раньше я об этом не думал, а теперь это может оказаться весьма кстати: мы оба убивали, и, как в его, так и в моем случае, это требовало немалого умственного напряжения.

Меня вдруг осенило (хотя и не впервые), что мужчины для того и созданы. Каждый пол специализируется на чем-то своем: женщины умеют рожать, мужчины — убивать. Мы — себя я считаю почетным мужчиной — более крепкий пол. Мы идем напролом, и бьем прямой наводкой, и делаем выпад за выпадом, пока не возьмем свое. Меня отнюдь не обескураживает тот факт, что сам я способен лишь на аналогии всей этой сексуальной терминологии. Это у меня в крови, в моих некастрированных генах. Эрик должен откликнуться.

Пробило одиннадцать, потом полночь и сигналы точного времени, так что я выключил радио и заснул.

Рано утром, когда отец еще спал и холодный свет пробивался сквозь низкую пелену свежих облаков, я тихо встал, тщательно умылся и побрился, вернулся в свою комнату, медленно оделся, взял банку с сонной осой и поднялся на чердак, где ждала Фабрика.

Я оставил банку на маленьком алтаре под окном и произвел последние необходимые приготовления. Затем набрал из мисочки зеленого желеобразного моющего средства и тщательно втер в ладони. Заглянул в «График приливов и отливов» — красную книжечку, которую держал с другой стороны алтаря, — и отметил время полной воды. Поместил две осиные свечи на те деления циферблата Фабрики, где стояли бы стрелки в местное время полной воды, затем откупорил баночку из-под джема, извлек листья и апельсиновую корку и оставил осу одну.

Баночку я поместил на алтарь, украшенный разными мощными вещами: черепом змеи, убившей Блайта (настигнутой его отцом и перерубленной пополам садовой лопатой; переднюю половину я успел припрятать в песке, пока Диггс не забрал ее как вещественное доказательство), осколком бомбы, погубившей Пола (самым маленьким, какой удалось найти; осколков была куча), куском брезента от змея, вознесшего Эсмерельду (конечно, не от самого змея, а обрезок той ткани), и блюдечком с желтыми сточенными зубами Старого Сола (выдернутыми без особого труда).

Я ухватился за свою промежность, зажмурил глаза и проговорил свой тайный катехизис. Все вопросы и ответы я давно знал назубок и мог бы оттарабанить их машинально, но я старался вдумываться в смысл. Они содержали мои признания, надежды и мечты, страхи и фобии, и, когда я произношу их, даже машинально, меня до сих пор трясет. Окажись поблизости магнитофон — и ужасная правда о трех моих убийствах выплыла бы наружу. Уже по одной этой причине повторение катехизиса было опасно. Вдобавок там изложена правда о том, кто я такой, чего я хочу и что чувствую, и было бы жутковато услышать, как о тебе говорят именно в тех выражениях, в каких ты сам думаешь о себе, когда максимально честен и несчастен, — равно как было бы унижительно услышать то, что ты сам думаешь о себе, когда полон надежд и витаешь в облаках.

Покончив с этим, я взял осу, подлез под циферблат и без лишних

церемоний запустил ее внутрь Фабрики.

Осиная Фабрика занимает площадь в несколько квадратных метров и являет собой беспорядочное на первый взгляд нагромождение разного железного, деревянного, стеклянного и пластмассового хлама. Основой всему служит циферблат старых часов, висевших когда-то над дверью Портенейльского отделения Шотландского королевского банка.

Циферблат — самое существенное, что мне удалось пока найти на свалке. Нашел я его в Год Черепа и всю дорогу домой катил по тропинке и через мост. Спрятал в сарае, дождался, пока отец уедет, и потом целый день корячился, затаскивая на чердак. Циферблат был железный, около метра в диаметре, и почти неподъемный; цифры — римские, а изготовлен он был, как и весь механизм, в Эдинбурге в 1864 году — ровно за сто лет до моего рождения. Это никак не могло быть случайным совпадением.

Так как часы смотрели на две стороны, должен существовать еще один циферблат, которого я так и не нашел, хотя не одну неделю копался на свалке, переворачивал ее вверх дном. И это еще одна загадка Фабрики, ее маленькая легенда о Граале. Старик Камерон из скобяной лавки сказал мне, что слышал, будто механизм был продан на металлолом торговцу из Инвернесса; то есть не исключено, что второй циферблат давным-давно расплавлен, а может, и по сей день украшает стенку какого-нибудь домика-пряника на острове Блэк, выстроенного на доходы от разбитых автомобилей и колебаний цен на свинец. Я бы предпочел первое.

На циферблате было несколько дырок, которые я залудил, но центральную дырку, через которую механизм соединялся со стрелками, оставил; именно через это отверстие оса запускается в Фабрику. Оказавшись там, она может ползать по циферблату в свое удовольствие и обнюхивать свечи с вплавленными в них сородичами, если, конечно, хочет, а если не хочет, то может их игнорировать.

Однако на краю циферблата (по периметру которого тянется фанерный бортик высотой два дюйма, а поверх бортика укреплено круглое стекло диаметром один метр, специально заказанное в городе) осу ждут двенадцать осинового размера коридорчиков с такими же дверцами, каждый — напротив огромных, с точки зрения осы, римских цифр. Если Фабрика сочтет это необходимым, осиный вес приведет в действие чувствительный триггер, действующий по типу качелей и изготовленный из ниток, булавок и тонких полосок консервной жести; тогда дверца захлопнется, и оса окажется запертой в выбранном коридоре. Я не забываю регулярно смазывать, отлаживать и балансировать все эти запорные устройства, чтобы

для срабатывания было достаточно легчайшего толчка (а когда Фабрика выполняет свою медленную смертоносную работу, я вынужден ступать как перышко), но иногда Фабрику не устраивает первоначальный выбор осы, и она позволяет той выползти из коридора обратно на циферблат.

Иногда осы пытаются летать или ползать по стеклу брюшком вверх, иногда подолгу сидят возле центральной дырки, которую я тут же затыкаю заглушкой, но рано или поздно все они выбирают тот вход, дверца которого сработает, и судьба насекомого решена.

Большинство смертей, имеющих в арсенале Фабрики, автоматические, но иногда требуется мое вмешательство для ку-де-граса,^[4] и это, разумеется, как-то связано с тем, что пытается сообщить мне Фабрика. Я должен нажать на курок старого духового пистолета, если оса заползет в его ствол; я должен включить ток, если она свалится в Кипящий Бассейн. Если она заползет в Будуар Паука, или Грот Венеры, или Муравейню, я могу спокойно сидеть и предоставить действовать природе. Если тропа заведет осу в Кислотную Яму, или в Ледяные Палаты, или в так называемую, шутки ради, Мужскую Уборную (где орудием убийства выступает моя собственная моча, и, как правило, весьма свежая), то я опять же могу ограничиться наблюдением. Если она свалится на электроды Вольтовой Камеры, я могу смотреть, как ее испепеляет дуговой разряд; если она заденет ниточку, удерживающую Убойный Вес, я могу смотреть, как ее плющит в лепешку; а если она забредет в Бритвенный Коридор, я увижу, как лезвия кромсают ее в капусту. Если подключены Альтернативы, я могу увидеть, как она капает на себя расплавленным воском, ест отравленное варенье или пронзается булавкой, запущенной из резинки; она даже может инициировать цепочку событий, которая завершится в тесной камерке, куда поступает под давлением углекислый газ из сифонного баллончика, но, если она выберет горячую воду или нарезной ствол Превратностей Судьбы, я буду вынужден принять непосредственное участие в ее смерти. А если ее занесет в Огненное Озеро, я своими руками должен буду утопить штифт, который щелкает зажигалкой, воспламеняющей бензин.

Смерть от огня всегда располагалась на двенадцати, и это один из тех Концов, которые никогда не заменяются Альтернативами. Огонь привязан у меня к смерти Пола, наступившей около полудня; аналогично — смерти Блайта от яда соответствует Будуар Паука на цифре четыре. Эсмерельда, судя по всему, утонула (Мужская Уборная), а время ее смерти я условно отнес к восьми часам — для симметрии.

Вот оса выползла из баночки — под фотографией Эрика, которую я

положил на стекло изображением книзу, — и через несколько секунд была уже на циферблате Фабрики. Она переползла через марку изготовителя и дату выпуска, совершенно проигнорировала осиные свечи и более-менее прямым курсом направилась к цифре XII. Вот беззвучно захлопнулась дверца, и оса целеустремленно поползла по коридору, сужающемуся, как верша для омаров, и сплетенному из толстой нити таким образом, чтобы оса не могла дать задний ход; а дальше ее ждала никелированная воронка, из которой оса вывалилась в стеклянную камеру, где и умрет.

Я перевел дух и расслабился. Почесал в затылке и снова подался вперед, глядя, как оса ползает внутри дырчатой железной полусферы, закопченной, с радужными переливами, которая продавалась как ситечко для чая, но теперь висела над плоской с бензином. В железных торцах стеклянной трубки было достаточно отверстий для нормальной вентиляции, чтобы оса не задохнулась в бензиновых парах: когда Фабрика заряжена, то, если приняться, можно ощутить слабый запах бензина. И, глядя сейчас на осу, я чувствовал этот аромат, а также едва уловимо пахло свежей краской, хотя, может, мне это только казалось. Я пожал плечами и надавил кнопку, штифт скользнул вниз по направляющему цилиндру из отрезка дюралевого палаточной стойки и чиркнул по колесу одноразовой зажигалки, установленной сбоку над плоской с бензином.

Занялось с первой же попытки: полупрозрачные огненные язычки, еще довольно яркие в утреннем чердачном сумраке, заплясали под ситечком. Пламя не доставало до осы, но жар достал, и, сердито жужжа, она взлетела над беззвучным огнем, стукнулась о стекло, рухнула, задела край ситечка, начала падать в пламя, выправилась и снова взлетела, несколько раз ударилась о раструб воронки и снова упала в сетчатую ловушку. Вскинулась последний раз, безнадежно пометалась туда-сюда, но, должно быть, успела опалить крылышки, так как полет был совсем хаотичным, и вскоре она рухнула в ситечко, где билась несколько секунд в корчах, потом выгнулась дугой и недвижно замерла, слегка дымясь.

Я сидел и смотрел, как насекомое обугливается и чернеет, сидел и смотрел, как поднимается ровное пламя и встает вокруг ситечка, будто ладонь с разведенными пальцами, сидел и смотрел на отражение огненных язычков в дальней стенке стеклянной трубки — и наконец протянул руку, отщелкнул зажим в основании, выдвинул плоскую с бензином и задул огонь. Снял с камеры смерти крышку и пинцетом извлек трупик осы, положил его в спичечный коробок и поставил на алтарь.

Фабрика не всегда расстается со своими мертвецами: кислота и муравьи не оставляют после себя ничего, а венерина мухоловка и паук — в

лучшем случае сухую оболочку. Но сейчас я опять имел на руках обугленный труп, от которого опять же требовалось избавиться. Я уткнул подбородок в ладони и подался вперед на низком табурете. Меня окружала Фабрика, за спиной был алтарь. Я оглядел многочисленные Фабричные пристройки, разнообразие путей, ведущих к смерти, все ее лазы и коридоры, камеры, тоннели со светом в конце, резервуары, контейнеры и бункера, тумблеры, проводки и батареи, опоры и стойки, нити и трубы. Я щелкнул несколькими выключателями, и зажужжали крошечные вентиляторы, гоня воздух по боковым коридорам мимо наперстков с вареньем и дальше по циферблату. Я слушал их жужжание, пока и сам не ощутил запах варенья, но тот предназначался для того, чтобы заманивать нерешительных ос на верную гибель, а вовсе не для меня. Я выключил вентиляторы.

Потом я стал отключать все агрегаты — где-то отсоединял, где-то сливал, а где-то и подливал. За слуховыми окнами вступало в свои права утро, подали голоса первые птицы. Завершив по всей форме ритуал отмены боеготовности Фабрики, я вернулся к алтарю и внимательно оглядел все его составные части, все миниатюрные цоколи и баночки, сувениры всей моей жизни, драгоценности, которые я нашел и решил сохранить. Фотографии всех моих мертвых родственников — тех, что пали от моих рук, и тех, которые просто умерли. Фотографии живых — Эрика, моего отца и матери. Фотографии вещей: «BSA-500» (увы, не того самого, а просто из журнала; подозреваю, все фотографии того мотоцикла папа уничтожил), дома во всем его былом многоцветье и даже самого алтаря.

Я провел спичечным коробком с осиным трупиком над алтарем, покачал коробок перед ним, перед банкой песка с нашего берега, перед склянками с моими драгоценными веществами, перед горсткой опилок, соструганных с отцовской трости, перед другим спичечным коробком с несколькими молочными зубами Эрика, проложенными ватой, перед флаконом с несколькими отцовскими волосинами и пузырьком с шелушками краски и ржавчины, которые я соскреб с нашего моста. Зажег осиные свечи, зажмурился, прижал ко лбу коробок с трупиком, чтобы ощутить лежащую там осу, — щекотка, легкий зуд в лобных долях мозга. Потом задул свечи, прикрыл алтарь, встал, стряхнул пыль со штанов, взял со стекла над циферблатом фотографию Эрика и завернул в нее осиный гробик, закрепил резинкой и спрятал в карман куртки.

Я неторопливо побрел вдоль берега в сторону Бункера, шел, засунув руки в карманы, понунив голову, глядя под ноги, на песок, и не видя его.

Куда ни повернусь — всюду огонь. Фабрика дважды повторила одно и то же. Когда на меня напал сумасшедший кролик, я тоже инстинктивно прибежал к огню, и огонь маячил во всех пустых уголках моей памяти. И Эрик приближал его с каждым днем.

Я поднял голову к пастельно-голубому, начинающему розоветь утреннему небу, вдохнул прохладный воздух. Я слышал рокот отлива, ощущал на лице свежий бриз. Где-то проблеяла овца.

Остается Старый Сол; я должен попробовать связаться с моим сумасбродным братом, пока не поднялся огненный вихрь и не пожрал Эрика — или мою островную жизнь. Я пытался внушить себе, что на самом деле, может, все не так уж и серьезно, однако нутром чувствовал, что именно так. Фабрика не врет; к тому же в кои-то веки она высказалась сравнительно недвусмысленно. Мне было тревожно.

В Бункере, в пропитанной едким запахом тьме, я стоял, коленопреклоненный, перед алтарем. Коробок с осиным трупиком покоилось перед черепом Старого Сола; глазницы черепа светились. Зажмурившись, я думал об Эрике, вспоминал, каким он был до того, как с ним приключилась неприятная история, — когда, покидая остров, он все равно оставался его частью. Я вспоминал, каким он был умным, добрым, чутким мальчиком, и думал о том, кем он стал — вестником огня и разрушения, летящим к мирным пескам нашего острова, словно обезумевший ангел, чья голова раскалывается от бесконечного эха криков бешенства и разочарования.

Я подался вперед и, не открывая глаз, возложил правую ладонь на череп старого пса. Свеча горела недолго, и череп был едва теплый. Какая-то часть моего «я» — неприятная, циничная — подумала, что я похож на мистера Спока в «Стар-треке», занятого слиянием разумов или еще какой хренотенью, но я проигнорировал эту мысль: какая, собственно, разница. Я дышал глубоко, размеренно; задумался еще глубже. Передо мной маячило лицо Эрика — веснушки, рыжеватые вихры, беспокойная улыбка. Юное лицо — худощавое, умное, совсем юное, таким я его видел, если пытался вспомнить то время, когда он был счастлив и когда мы вместе проводили на острове летние месяцы.

Я сосредоточился, задержал дыхание и натужился, словно при запоре; в ушах зашумела кровь. Большим и указательным пальцами левой руки я с силой надавил на веки, правая лежала на раскаляющемся черепе. Перед глазами вспыхнул хаотичный узор, неровные спирали — будто круги на воде или вращающиеся отпечатки пальцев.

Нутро мое непроизвольно сжалось, выстрелило вверх по пищеводу волну горячечного возбуждения. Я прекрасно понимал, что это все работа лимфатических узлов, желудочных кислот, но ощутил прорыв, перенос из своего черепа в другой и опять в другой. Эрик! Есть контакт! Я чувствовал брата; ощущал сбитые подошвы, кровавые мозоли, подкашивающиеся ноги, чумазные потные руки, зуд в немытой голове; я чуял его запах как свой, смотрел на мир его глазами, воспаленными, не знающими сна, налитыми кровью, горящими, как угли, под шершавыми, как наждачная бумага, веками. В животе лежали мертвым грузом остатки недавней кошмарной трапезы, язык еще чувствовал вкус горелого мяса, костей и шерсти. Получилось! Ну же...

На меня обрушился огненный шквал. Я отлетел от алтаря, как живой осколок мягкой шрапнели, отскочил по присыпанному землей бетонному полу и впечатался в дальнюю стенку. Голова гудела, в руке пульсировала боль. Я упал на бок и свернулся калачиком.

Какое-то время я лежал, переводя дыхание, обхватив себя за бока и едва покачиваясь, елозя макушкой по полу Бункера. Казалось, моя правая рука распухла до размеров боксерской перчатки, да и цвета стала такого же. Наконец я подтянул ноги и медленно сел, воркуя под нос что-то неразборчиво-умиротворяющее, потирая глаза и продолжая слегка раскачиваться, сближая лоб и колени, потом разводя, сближая, разводя. Я старался худо-бедно подлечить мое контуженное эго.

Смутное мельтешение перед глазами разрешилось наконец четкими контурами, и я увидел, что череп еще светится, свеча еще горит. Сердито глядя на него, я принялся зализывать руку. Никакого ущерба по маршруту своего поспешного отступления я не обнаружил, все оставалось на местах; пострадал я один. Я судорожно вздохнул и расслабился, уронил затылок на холодный бетон стены.

Через какое-то время я отлепился от стенки и распластал продолжающую пульсировать ладонь на полу Бункера — пусть остынет. Подержав ее так, отряхнул от земли и поднес к глазам, но как ни щурился, а разглядеть, сильный ли ожог, не сумел — слишком тусклый был свет. Я медленно встал на ноги и подошел к алтарю. Трясущимися руками зажег боковые свечи, отложил коробок с осой к ее товаркам на пластмассовый стеллаж слева от алтаря и сжег ее временный гробик на железной тарелке перед Старым Солом. Фотография Эрика вспыхнула, ребячливое лицо исчезло в огне. Я дунул в одну из глазниц Старого Сола и загасил свечу. Секунду-другую я постоял, собираясь с мыслями, затем подошел к железной двери и отворил ее. С затянутого легкими облачками неба в

Бункер хлынул густой утренний свет, и я поморщился. Возвратился в Бункер, задул остальные свечи и как следует осмотрел свою руку. Ладонь покраснела и распухла. Я снова лизнул ее. Успех был так близок. Никаких сомнений — я дотянулся до Эрика, стал его частью, видел мир его глазами, слышал шум крови в его голове, ощущал землю под его ногами, чуял его запах и вкус его последней еды. Но он оказался мне не по силам. С пожаром, бушующим в голове Эрика, не справится ни один нормальный человек. Это был пожар безумной, всепоглощающей страсти, и лишь истинные безумцы способны поддерживать его постоянно, а самые свирепые солдаты и самые агрессивные спортсмены — иногда имитировать. Каждая клеточка в мозгу Эрика была сосредоточена на поставленной задаче — вернуться и запалить, и ни один нормальный мозг (даже мой, отнюдь не нормальный, куда мощнее большинства прочих) не мог ничего противопоставить силе столь подавляющей. Эрик посвятил себя тотальной войне, джихаду; божественный ветер нес его к смерти,^[5] по крайней мере собственной, и все мои привычные методы не годились.

Я запер Бункер и побрел вдоль берега назад к дому — снова понутив голову и еще более задумчивый и озабоченный, чем по пути туда.

Остаток дня я провел дома — читал книги, журналы, смотрел телевизор и лихорадочно размышлял. Воздействовать на Эрика изнутри я не мог, значит, следовало изменить направление атаки. Моя личная мифология, основанная на Фабрике, была достаточно гибкой, чтобы я признал сегодняшнее поражение и, отталкиваясь от неудачи, нашел верный ответ. Передовые отряды с боем отступили, но у меня еще оставались резервы, и немало. Победа будет за мной — хотя достигнутая и не прямым приложением сил. По крайней мере, не прямым приложением любой другой силы, кроме силы творческого воображения, которая, если подумать, лежит в основе всего. Если и она не поможет справиться с Эриком — что ж, значит, мне действительно место на свалке истории, значит, другой участи я и не заслуживаю.

Отец продолжал красить оконные переплеты, косолапо карабкался по приставной лестнице с банкой краски в руках и зажатой в зубах кистью. Я предложил помочь, но он сказал, что лучше сам. С лестницей мне тоже приходилось иметь дело, и неоднократно, когда я пытался проникнуть в отцовский кабинет, но мало того, что там были специальные замки на рамах, так еще и жалюзи опущены, и шторы задернуты. Обнадеживало лишь то, с каким трудом он карабкался по лестнице. Значит, на чердак он никогда не заберется. Очень удачно, подумалось мне, что дом не ниже, чем

есть, а то папа мог бы забраться по лестнице на крышу и заглянуть на чердак через слуховые окна. Но в ближайшем будущем мы могли ни о чем таком не беспокоиться, наши маленькие крепости, у каждого своя, оставались в неприкосновенности.

В кои-то веки отец позволил мне заняться обедом; я приготовил овощное карри — вариант, который устроит нас обоих, пока мы будем смотреть лекцию Открытого университета по геологии (я специально принесу на кухню портативный телевизор). Я решил, что, как только разберусь с Эриком, надо будет возобновить кампанию обработки отца на предмет покупки видеомагнитофона. А то когда погода хорошая, вечно что-нибудь интересное пропустишь.

После обеда папа отправился в город. Это было необычно, но я не стал спрашивать, куда он намылился. Он выглядел уставшим после того, как целый день лазил по лестницам и махал кистью, но поднялся к себе, переделся в Городское Платье и прихрамал обратно сказать мне «до свидания».

— Ну я пошел, — произнес он и оглядел гостиную, словно рассчитывал обнаружить свидетельства того, что я приступил к моим гнусным каверзам, даже не дождавшись его ухода.

— Угу, — кивнул я, не отрываясь от экрана.

— Я долго не задержусь. Можешь не запираяться.

— Хорошо.

— Справишься один?

— Справлюсь, справлюсь, — бросил я через плечо, сложил руки на груди и глубже погрузился в старое кресло.

Папа отступил к двери, теперь обе его ноги были в коридоре, а тело — наклонено, и если бы он не держал руку на косяке, то растянулся бы во весь рост. Он снова кивнул — характерное клюющее движение козырьком кепки.

— Ну ладно. До встречи. И води себя хорошо.

Я улыбнулся и опять уставился в экран.

— Конечно, пап. Пока.

Он неопределенно хмыкнул, снова оглядел гостиную — хотел, видно, удостовериться напоследок, не стирал ли я все-таки серебряные вилки, — и прикрыл дверь. Я услышал стук трости по ступенькам, скрип входной двери. Проводил его взглядом вдоль тропинки, посидел немного, затем поднялся и проверил дверь в кабинет, которая — как обычно, как всегда — была столь неколебима, что могла составлять одно целое со стеной.

Я задремал, и качественно. На улице смеркалось, по телевизору крутили какой-то идиотский американский детективный сериал, голова была очень тяжелая. Я с трудом проморгался и зевнул — чтобы разлепить губы и проветрить рот, в котором успел поселиться крайне затхлый привкус. Зевнул, потянулся и замер — до меня донесся телефонный звонок.

Я вскочил с кресла, споткнулся, чуть не упал, добрался до двери, до прихожей, до лестницы и, наконец, до телефона — летел со всех ног. Схватил трубку правой, больной, рукой. Прижал ее к уху.

— Алло?

— Здорово, Фрэнки, как поживаешь? — спросил Джейми.

Я вздохнул — с облегчением, но и с разочарованием.

— А, Джейми, это ты. Привет. Нормально поживаю. А ты как?

— А у меня трудовая травма. Уронил утром бревно на ногу, она вся распухла.

— Но ничего серьезного?

— Не-а. Если повезет, просижу так до конца недели. Надо бы завтра доковылять до поликлиники, больничный оформить. Собственно, звоню сказать, что днем я дома. Так что будет настроение — заходи навестить больного друга. Фрукты там, витаминчики...

— Ладно. Может, завтра и зайду. Но я еще сначала позвоню.

— Здорово. Ничего больше не слышать от сам-знаешь-кого?

— Глухо, как в танке. Я думал, это он звонит.

— Так я и понял. Можешь не беспокоиться. В городе пока все тихо, так что, наверно, он не объявлялся.

— Ну да, но я хочу его увидеть. Лишь бы он опять не начал дурить, как тогда. Понятно, что ему придется вернуться в клинику, даже если он этого не понимает, но все равно хотелось бы его увидеть. Хочется и того и другого. Понимаешь?

— А то! И кончай волноваться, все будет путем. Вот увидишь.

— Я и не волнуюсь.

— Вот и хорошо. Я тут, кстати, собрался в «Армз» принять пинту-другую болеутоляющего. Не хочешь за компанию?

— Да нет, спасибо, лучше в другой раз. Сегодня я что-то утомился. Давай, может, завтра увидимся.

— Ну все, до завтра. Держи хвост пистолетом, и все такое. Пока, Фрэнк.

— Угу, Джейми, пока.

— Пока, — ответил Джейми.

Я отправился переключить телевизор на что-нибудь более осмысленное, но добрался только до нижней площадки, когда телефон снова зазвонил. Я стал подниматься и вдруг подумал, что это может быть Эрик, но когда я взял трубку, то не услышал характерного таксофонного пиканья.

— Ну, — с ухмылкой поинтересовался я, — и чего забыл?

— Забыл? Я ничего не забыл! Я все помню! Все!!! — завопил знакомый голос на том конце.

Я застыл, изумленно сглотнул.

— Эр... — начал я.

— Почему ты обвиняешь меня в забывчивости? Что я, по-твоему, забыл? Ну, что? Ничего я не забыл! — хрипел и надрывался Эрик.

— Эрик, прости! Я тебя с кем-то другим перепутал.

— Я — это я! — взвизгнул он. — Я тебе не «кто-то другой»! Я — это я! Я!!!

— Я думал, это Джейми! — простонал я, зажмурившись.

— Этот лилипут? Ах ты негодяй!

— Прости, я... — И тут я осекся и задумался. — Э, ты что себе позволяешь? Что значит «этот лилипут»? И вообще, что за тон? Он мой друг. И он не виноват, что маленький, — сказал я ему.

— Ой ли! — отозвался Эрик. — А ты откуда знаешь?

— В каком смысле «откуда знаю»? Он же не виноват, что таким родился! — рассвирепел я.

— Это он тебе так говорит.

— Что говорит?

— Что он лилипут! — выплюнул Эрик.

— Что?! — не веря собственным ушам, загремел я. — Ну ты идиот! Я же прекрасно вижу, что он лилипут.

— Это он и хочет тебе внушить! Может, на самом деле он инопланетянин! Может, все остальные у них еще мельче! Откуда ты знаешь, а вдруг на самом деле он великан-инопланетянин очень низкорослой инопланетной расы? А?

— Кончай издеваться! — завопил я, больно стискивая трубку обожженной рукой.

— Потом не говори, что я тебя не предупреждал! — крикнул Эрик.

— Не бойся, не скажу! — крикнул я в ответ.

— Ну да ладно, — произнес Эрик неожиданно спокойным тоном, так что я даже подумал, не подключился ли к нашему разговору кто-то другой, и я был обескуражен, когда он спросил обычным ровным голосом: — Ты-то

как?

— Э... — замялся я. — Ну... нормально. В порядке. А ты как?

— Неплохо, неплохо. Уже почти там.

— Что? Тут?

— Не тут, а там. Уж на таком-то расстоянии связь не может быть плохой, а?

— На каком расстоянии? Что не может? Не понимаю.

Левую руку я прижал ко лбу, чувствуя, что вот-вот упущу нить беседы.

— Я уже почти *там*, — стоически вздохнув, объяснил Эрик. — Не почти *тут*. Тут я уже и так. Иначе как бы я мог тебе отсюда звонить?

— Откуда это «отсюда»? — поинтересовался я.

— Ты что, хочешь сказать, что опять не помнишь, где находишься? — пораженно воскликнул Эрик. (Я снова зажмурил глаза и застонал.) — А еще меня в забывчивости обвиняешь! — продолжал Эрик.

— Слушай, ты, псих ненормальный! — завопил я в трубку, изо всех сил стискивая зеленый пластик; руку пронзила острая боль, и я ощутил, как перекосилось мое лицо. — Меня уже достало, что ты звонишь и... турусы на колесах разводишь! Хватит мне мозги парить, понял? — Я с трудом перевел дыхание. — Прекрасно знаешь, черт побери, что я имею в виду, когда спрашиваю, откуда это «отсюда»! Я хочу сказать, где ты, черт побери, находишься? Я-то знаю, где я, и ты знаешь, где я. Хватит со мной шутки шутить, хорошо?

— Хм. Конечно, Фрэнк, конечно, — равнодушно отозвался Эрик. — Извини, если что не так.

— Так вот... — начал я снова на повышенных тонах, но помедлил и пару раз глубоко вздохнул. — Так... вот... ты... ты меня достал. Я же просто спрашивал, где ты.

— Да ладно, Фрэнк, все я понимаю, — рассудительно произнес Эрик. — Но я же не могу сказать тебе, где я. Вдруг кто-нибудь подслушает? Согласись, это было бы опасно.

— Ну да, ну да, — выдохнул я. — Но ты сейчас не в будке?

— Разумеется, я не в будке, — сказал он с нотками бывшего раздражения, но взял себя в руки. — Угадал, угадал. Я в чьем-то доме. В коттеджике, если уж быть точным.

— Чего? Как это? В чьем?

— Понятия не имею, — ответил он; и я был готов поклясться, что слышу, как он пожимает плечами. — Хотя, наверно, мог бы выяснить, если тебе и впрямь интересно. Тебе и впрямь интересно?

— Чего? Да нет. То есть да. То есть нет. Да какая разница! Но откуда...

в смысле, как... ну, кто тебя...

— Послушай, Фрэнк, — устало проговорил Эрик, — это просто чей-то загородный домик или там бунгало, не знаю. И хрен его знает, чей он там. Но, как ты сам проницательно заметил, какая, собственно, разница. Верно?

— Ты хочешь сказать, что взломал чей-то дом? — спросил я, не веря своим ушам.

— Ну да. А что? Кстати, мне даже не пришлось ничего взламывать. Я нашел ключ от задней двери в желобе. Что такого? Очень даже уютная халупа.

— А ты не боишься, что тебя поймают?

— Не очень. Я сижу у окна в гостиной, дорога передо мной как на ладони. В общем, все схвачено. У меня тут есть еда, ванная, телефон, холодильник — огромный, туда можно целую овчарку засунуть! — кровать тоже есть — в общем, обеспечен по полной программе. Шик-блеск.

— Овчарку?! — хрипло взвизгнул я.

— Ну да, если бы у меня была овчарка. Так-то нету, но если бы была, я мог бы там ее хранить. Пока же...

— Не надо, — перебил я, снова зажмурился и так вскинул руку, будто он был со мной рядом. — Не рассказывай.

— Хорошо, не буду. Я просто хотел позвонить тебе, сказать, что все со мной в порядке, узнать, как ты там...

— Да со мной все нормально. А ты уверен, что у тебя все в порядке?

— Более чем. Чувствую себя просто великолепно. Наверно, все дело в диете...

— Послушай! — выпалил я, и глаза мои расширились, когда меня осенило, о чем надо спросить. — Ты сегодня утром ничего случайно не чувствовал, а? Примерно на рассвете? Ничего, а? Совсем ничего? Вдруг что-нибудь там шевельнулось... э-э, внутри где-нибудь, а? Ничего не почувствовал?

— Да что ты такое лопочешь? — спросил Эрик, начиная сердиться.

— Ты сегодня утром ничего такого не чувствовал, рано-рано?

— Да можешь ты по-человечески сказать, что я должен был почувствовать?

— Ну... в смысле, у тебя какого-нибудь особого ощущения сегодня утром не возникало, где-то на рассвете?

— Хм-м... — протянул Эрик. — Хм. Ты подумай, какое совпадение...

— Ну же, ну? — возбужденно переспросил я, так притиснув трубку, что мои зубы лязгнули о микрофон.

— Абсолютно ничего. Насчет сегодняшнего утра могу заявить со всей

ответственностью, что не ощущал абсолютно ничего, — любезно сообщил Эрик. — Я спал.

— Но ты же говорил, что не спишь! — возмутился я.

— Боже, Фрэнк, идеальных людей не бывает! — рассмеялся он.

— Но... — начал было я, потом умолк и заскрипел зубами. И снова зажмурился.

— Ну ладно, Фрэнк, шутничок ты наш, — проговорил он. — Честно говоря, меня это начинает утомлять. Может, я еще перезвоню попозже, но в любом случае до скорой встречи. Пока-пока.

Прежде чем я успел что-либо сказать, в трубке зазвучали гудки. Я стоял злой как черт и недовольно пялился на телефон, как будто это он во всем виноват. Я подумал, не расколошматить ли трубку о стену, но решил, что это будет слишком уж похоже на скверный анекдот, и просто бросил ее на рычаг. Трубка коротко пискнула, а я, просверлив ее напоследок гневным взглядом, протопал вниз по лестнице, вернулся в гостиную, упал в кресло, взял телепульт и минут десять машинально переключал каналы. После чего осознал, что одновременный просмотр трех программ сразу (новости, другой идиотский штатовский детективный сериал и документальный фильм об археологии) дает мне ничуть не меньше, чем дал бы просмотр каждой из них по отдельности. С отвращением закинув пульт подальше, я выскочил в сгущающиеся сумерки и направился к морю пошвырять камни в прибор.

Что случилось с Эриком

Спал я допоздна, по моим меркам. Вернулись мы одновременно — отец из города, я с пляжа, — и я тут же залег в койку, так что выпался как следует. Утром я позвонил Джейми и попал на его маму, которая сказала, что он ушел к доктору, но вот-вот должен вернуться. Я упаковал рюкзачок, сказал папе, что вернусь вечером, но не поздно, и отправился в город.

Когда я прибыл к Джейми, он был уже дома. Мы выпили пару банок старой доброй «Красной смерти»^[6] и вдоволь почесали языками; часов в одиннадцать слегка перекусили, выпили чаю с кексом, который испекла его мама, а потом я сказал «до свидания» и выдвинулся за город, в предгорья.

За лесничеством, на поросшей вереском вершине пологого скалисто-земляного откоса, я облюбовал себе большой валун, устроился на нем и съел свой ленч. Над Портенейлем маячило знойное марево, дальше пестрели овцами пастбища, за которыми виднелись дюны, свалка, остров (впрочем, то, что это остров, было не разобрать; отсюда он казался частью суши), пески и море. Одинокие облачка висели на голубом-голубом небосводе, блекнущем у горизонта, над гладью моря и речного устья. В вышине заливались жаворонки и кружил канюк, высматривая какое-нибудь шевеление в траве и вереске, ракитнике и утеснике. Вились и гудели насекомые, от которых я, жуя сандвичи и хлебная апельсиновый сок, отмахивался веточкой папоротника.

Слева уходила на север гряда холмов: они поднимались все выше и выше, пока не исчезали в сероголубой дымке. Я разглядывал в бинокль город подо мной, грузовые и легковые машины на шоссе. Проводил взглядом поезд: тот сделал остановку на Портенейльском вокзале и отправился дальше на юг; рельсовый путь змеился по приморской равнине.

Я люблю периодически выбираться с острова. Не слишком далеко; лучше, если его еще можно увидеть, — но порой бывает крайне полезно глянуть на вещи со стороны, в перспективе. Естественно, я понимаю, какой это крошечный клочок земли, я ж не идиот. Я представляю себе размер земного шара и знаю, насколько ничтожная часть его мне известна. Слишком много я смотрел телевизор, слишком много видел передач по географии и природоведению, чтобы не понимать, насколько куцы мои познания, вернее, личный опыт; но не больно-то и хотелось — я не

испытываю ни малейшей тяги к дальним странствиям или к расширению круга общения. Я знаю, кто я есть и каковы мои реальные возможности. И сужаю собственные горизонты я отнюдь не без причины: страх — да, пожалуй — и потребность перестраховаться и обеспечить себе безопасность в мире, который по чистой случайности обошелся со мной так жестоко — в возрасте, когда я не имел ни малейшей возможности сам на него повлиять.

Вдобавок у меня перед глазами пример Эрика.

Эрик уехал. Эрик, со всеми его способностями, перспективами, чуткостью и умом, покинул остров и попытался жить по-своему: выбрал себе путь и прилежно по нему следовал. Путь этот уничтожил его как личность, сделал из него совершенно другого человека, в котором любое сходство с прежним нормальным юношей воспринимается как похабная пародия.

Но он мой брат, и в каком-то смысле я до сих пор его люблю. Я люблю его, несмотря на происшедшую метаморфозу, так же как, наверно, и он любил меня, несмотря на мое увечье. Подозреваю, это защитный рефлекс: вроде того, что женщины должны ощущать по отношению к детям, а мужчины — к женщинам.

Эрик покинул остров еще до моего рождения и приезжал только на летние каникулы, но, думаю, душой он всегда был здесь, и когда он вернулся насовсем, через год после моего маленького несчастья, и отец решил, что мы достаточно взрослые, чтобы он мог заботиться о нас обоих, то я нисколько не возражал против его присутствия. Напротив, мы с самого начала прекрасно ладили, и, уверен, ему было неловко, что я хожу за ним как привязанный и копирую каждый жест; но Эрик — это Эрик, а он был настолько внимателен к чувствам других, что ни словом не обмолвился мне об этом, боясь обидеть.

Когда его посылали учиться в частные школы, я сникал и хирел, а когда он приезжал на каникулы, я с ума сходил от счастья. Лето за летом мы проводили на острове, запускали змеев, собирали модели из дерева, пластика, «лего», «меккано» и всего, что попадалось под руку, строили плотины и шалаши, копали окопы. Мы запускали самолеты и кораблики, делали парусные песчаные буера, придумывали тайные общества со своим тайным языком и шифром. Он рассказывал мне истории, импровизируя на ходу. Некоторые из них мы разыгрывали в лицах: храбрые солдаты сражаются в дюнах, побеждают и сражаются, сражаются и порой гибнут. Если он порой и причинял мне боль, то лишь невольно, когда по сюжету требовалась его героическая смерть, и я всерьез переживал, глядя, как он

умирает, лежа на траве или на песке, только что подорвав мост, или плотину, или вражескую автоколонну, а заодно, может, и спасая меня от гибели; я глотал слезы и колотил его кулачками по плечу, пытаюсь изменить финал на свой лад, а Эрик отказывался, ускользал от меня и умирал — слишком часто умирал.

Когда его мучила мигрень — иногда по нескольку дней кряду, — я не находил себе места. Я носил прохладительные напитки и чуть-чуть еды в комнату с задернутыми шторами на втором этаже, входил на цыпочках и тихо стоял, а если он начинал стонать или ворочаться на кровати, меня била дрожь. Пока он страдал, я чувствовал себя несчастным и ко всему терял интерес; игры и истории казались глупыми и бессмысленными, и единственное, что я делал со смыслом, — это швырял камни по бутылкам или чайкам. По чайкам — так как я решил, что другие тоже должны страдать, не только Эрик. Но когда он выздоравливал — это было словно очередной приезд на каникулы, и от восторга у меня вырастали крылья.

Однако в итоге эта экстравертность поглотила его без остатка, что случается со всеми настоящими мужчинами, и отняла Эрика у меня, увлекла в большой мир со всеми его сказочными соблазнами и смертельными опасностями. Эрик решил пойти по стопам отца и тоже стать доктором. Он сказал мне тогда, что все останется по-прежнему: ведь у него снова будут летние каникулы, даже если какое-то время отнимет больничная практика в Глазго; он сказал, что, когда мы встретимся, все будет как раньше, но я знал, что это не так, и видел, что в глубине души он тоже знает. Его выдавали глаза, выдавал голос. Он покидал остров, бросал меня.

Но винить его я не мог, даже когда мне было особенно тяжело. Это же Эрик, мой брат, и он делал то, что должен, в точности как храбрый солдат, гибнущий за правое дело или за меня. Как я мог усомниться в нем или винить его, если у него и в мыслях не было сомневаться во мне, винить меня? Бог ты мой! А эти три погибших ребенка, три убийства, причем одно из них — братоубийство. Он и не помышлял, что я как-то замешан хотя бы в одном. Иначе я бы знал. Если бы он что-то подозревал, то не мог бы в глаза мне смотреть, ведь он совсем не умеет лгать.

И вот он отбыл на юг, сначала на один год (раньше прочих, поскольку блестяще сдал экзамены), потом на второй. Летом после первого курса он вернулся — но это был совершенно другой человек. Он старался вести себя со мной, как прежде, но я чувствовал какую-то натянутость. Он был далеко, душа его покинула остров. Он больше думал об университетских друзьях, о своих драгоценных занятиях; быть может, домом его души стал теперь весь

мир. Но на острове ее больше не было, со мной — не было.

Мы гуляли, запускали змеев, строили плотины — но все изменилось; теперь он был взрослым, который помогал мне веселиться, а не товарищем по играм. Да нет, все было неплохо, и я в любом случае радовался, что он здесь; но спустя месяц он с явным облегчением покинул нас, чтобы присоединиться к своим однокашникам, отдохавшим на юге Франции. Я оплакивал уход того брата и друга, которого знал прежде, и острее, чем когда-либо, ощущал свою ущербность — то, что навсегда оставит меня подростком, не позволит вырасти и стать настоящим мужчиной, который идет по жизни своим путем.

Я быстро избавился от этого ощущения. У меня был Череп. У меня была Фабрика, и я опосредованно испытывал чувство здорового мужского удовлетворения оттого, что Эрик так блестяще проявил себя в большом мире; я же тем временем сделался безраздельным властителем острова и смежных с ним территорий. Эрик писал мне письма и рассказывал о своих успехах, он звонил и разговаривал со мной и с отцом и часто смешил меня по телефону до колик — как это умеют умные взрослые, даже когда тебе вовсе не до смеха. Он никогда не давал мне почувствовать, что оставил остров, оставил меня.

А затем произошел тот прискорбный случай, который наложил на многое другое, о чем мы с отцом ведать не ведали, — и суммарный вес оказался чрезмерным даже для того нового человека, который приезжал к нам после первого курса. В итоге вышла смесь Эрика прежнего (но сатанински вывернутого наизнанку) и более опытного, умудренного, но в то же время опасного и ущербного, дезориентированного, в чем-то трогательного и совершенно безумного. Вроде как разбитая голограмма — когда осколок содержит изображение целого, но мельче и не в фокусе.

Это произошло, когда Эрик учился на втором курсе и помогал в клинике при университете. Ему тогда было даже не обязательно там находиться — в недрах больницы, с безнадежными и отверженными; он помогал в свое свободное время. Впоследствии мы с отцом узнали, что у Эрика были проблемы, о которых он нам не рассказывал. Он влюбился в какую-то девушку, но кончилось все печально, в итоге она сказала, что не любит его, и ушла к другому. Какое-то время его особенно изводили мигрени, он даже не мог учиться. Потому-то, а не только из-за девушки он неофициально работал в клинике при университете, помогал медсестрам в ночную смену, сидел со своей книжкой в темноте палат, а вокруг стонали и кашляли молодые, старые и больные.

Так было и в ту ночь, когда с ним произошел прискорбный случай. Он

находился в палате, где содержали детей и младенцев с такими тяжелыми врожденными дефектами, что за стенами больницы малышам грозила бы верная гибель, да и больница лишь предоставляла отсрочку, и то не очень долгую. Мы узнали о случившемся из письма медсестры, которая работала в ту смену и хорошо относилась к моему брату, и, судя по тону письма, она полагала, что сохранять жизнь самым безнадежным из этих детей неправильно, что они лишь служат наглядным пособием для студентов.

Это была душная июльская ночь, и Эрик находился в адской палате возле больничной котельной и складских помещений. Весь день у него болела голова, и уже в палате боль переросла в тяжелый приступ мигрени. Вентиляция последнюю пару недель барахлила, и рабочие пытались ее отремонтировать, а в жаре и духоте Эрикова мигрень обострялась. Через час его должны были подменить, или, может, даже Эрик признал бы поражение и отправился бы спать в свою комнату в общежитии. Как бы то ни было, он обходил палату, менял пеленки, утихомиривал хныканье, делал перевязки, ставил капельницы и так далее, а все это время голова у него раскалывалась и перед глазами то и дело вспыхивали молнии, яркие огни.

Ребенок, которым он тогда занимался, был фактически «овощем». Среди прочих дефектов тот страдал недержанием, из всех звуков издавал лишь горловое бульканье, не мог толком контролировать свои мышцы — голову его и то удерживал штатив со специальной скобой — и носил на голове железную заплатку, потому что кости его черепа не срослись на макушке и даже кожа над мозгом была не толще бумаги.

Кормить его полагалось каждые несколько часов специальной смесью — чем Эрик и думал тогда заняться. Он обратил внимание, что ребенок ведет себя немного тише, чем всегда, — просто сидит вяло на стуле и смотрит прямо перед собой; дыхание неглубокое, глаза подернуты пеленой, а лицо, обычно бессмысленное, хранит выражение, которое можно назвать безмятежным. Впрочем, к приему пищи ребенок оказался неспособен, а это было чуть ли не единственное, что раньше вызывало у него какую-то реакцию, даже сравнительно активную. Эрик был терпелив, он провел ложкой перед расфокусированными глазами ребенка, затем поднес ту к его губам; в обычной ситуации ребенок высунул бы язык или склонил голову, пытаясь взять ложку в рот, а этой ночью просто сидел, не булькал, не тряс головой, не ерзал, не махал руками и не закатывал глаза, а лишь пялился прямо перед собой со странным — хочется сказать, счастливым — выражением на лице.

Эрик упорствовал; он сел поближе, пытаясь перебороть усиливающуюся мигрень. Он негромко обратился к ребенку: обычно

малыш при звуке голоса повел бы глазами или попытался повернуть голову к источнику звука; однако эффекта не было ни малейшего. Эрик проверил прикнопленный за стулом лист назначений, но никакого дополнительного лекарства ребенку не давали. Он склонился еще ближе — ласково воркуя, трясая ложкой, с трудом игнорируя боль, угрожавшую расколоть череп.

И тут он что-то увидел, словно какое-то шевеление, едва заметное на обритой голове загадочно улыбающегося ребенка. Что бы это ни было, оно было маленькое и двигалось медленно. Эрик моргнул, тряхнул головой, пытаясь отогнать все быстрее пляшущие перед глазами яркие точки. Он встал, не выпуская ложки с кашницей. Склонился ближе к макушке ребенка, вгляделся пристальней. Так ничего и не увидел, однако ему померещилось что-то странное у края железной нашлапки, и он легко снял ее с головы ребенка и заглянул внутрь.

Рабочий котельной услышал вопль Эрика и ворвался в палату, размахивая разводным ключом; Эрика он обнаружил в углу, тот полусидел-полулежал, свернувшись калачиком, пригнув голову к коленям, и голосил что было мочи. Стул вместе с пристегнутым к нему ребенком был перевернут и лежал на полу в нескольких футах от Эрика, причем ребенок продолжал улыбаться.

Рабочий потряс Эрика за плечо, но реакции не последовало. Тогда он поглядел на ребенка и подошел поближе, — может, хотел выправить стул, но, чуть не дойдя, метнулся к двери, и по пути его стошнило. Когда на шум спустилась медсестра из отделения этажом выше, она нашла рабочего в коридоре; тот все еще пытался подавить сухие рвотные спазмы. К этому времени Эрик затих. Ребенок продолжал улыбаться.

Медсестра подняла стул, поставила на место. Не знаю, как она сумела справиться с тошнотой — может, ей приходилось выдывать и не такое, — но она сообразила, в чем дело, вызвала по телефону помощь и сумела извлечь Эрика из угла. Усадила его в кресло, прикрыла голову ребенка полотенцем и успокоила рабочего. Из черепа улыбающегося ребенка она извлекла ложку. Туда ее воткнул Эрик: может, в первый момент безумия он думал вычерпать то, что открылось его взгляду.

В палату проникли мухи, — видимо, когда барахлил кондиционер. Они забрались под железную нашлапку и отложили там яйца. И вот что Эрик увидел, приподняв ее, вот что он увидел, ощущая над собой этажи человеческого страдания, вот что он увидел, когда его собственный череп раскалывался от мигрени: клубок жирных личинок, неторопливо извивающихся в общей луже пищеварительного сока и поглощающих мозг

ребенка.

Поначалу казалось, что Эрик даже пришел в себя. Ему кололи успокоительное, продержали двое суток на больничной койке, потом еще несколько дней на постельном режиме в его комнате в общежитии. Через неделю он вернулся к учебе и снова посещал занятия. Несколько человек знали, что что-то произошло, но они заметили только, что Эрик стал менее контактен. Мы с отцом вообще ничего не знали, кроме того, что он пропустил несколько дней занятий из-за мигрени.

Потом мы узнали, что Эрик стал много пить, путать расписание, кричать во сне и будить соседей по этажу, глотать в астрономических количествах таблетки, пропускать экзамены и лабораторный практикум... В конце концов ему предложили уйти в академотпуск до следующего учебного года — так много занятий он пропустил. Эрик воспринял это довольно тяжело: приволок все свои учебники к двери куратора и там поджег. Ему повезло, что делу не дали ход; университетское начальство посмотрело сквозь пальцы на дым и на ущерб, причиненный ветхим деревянным панелям коридора, и в итоге Эрик вернулся на остров.

Но не ко мне. Он отказывался со мной общаться, сидел запершись в своей комнате, очень громко крутил пластинки и почти не выходил, разве что в город, где ему очень быстро отказали от всех четырех кабаков, потому что он лез драться, кричал на людей, обзывал их последними словами. Если вдруг он меня замечал, то выпучивал глаза-блюдца или стучал пальцем по своему длинному носу и коварно подмигивал. Под глазами у него залегли тени, потом мешки, а кончик носа часто подергивался. Однажды он сгреб меня в охапку и поцеловал в губы, что напугало меня по-настоящему.

Отец сделался почти таким же необщительным, как Эрик. Существование он вел замкнутое и предпочитал либо долгие прогулки, либо долгое задумчивое молчание. Он начал курить, в какой-то момент стал заядлым курильщиком. Примерно на месяц дом превратился в суший ад, и я старался подольше бывать на улице или же запирался в своей комнате и смотрел телевизор.

Потом Эрик начал пугать маленьких детей — сперва кидался в них червяками, потом засовывал им червей за шиворот, и все на обратном пути из школы. Когда он стал пытаться кормить их червями, пихал в лицо полные пригоршни личинок, то на остров явилась целая депутация — несколько родителей, учитель и Диггс. Я сидел у себя в комнате весь в нервном поту, а внизу в гостиной эти родители орали на папу. С Эриком беседовал доктор, беседовал Диггс, даже работник социальной службы из

Инвернесса, но Эрик почти ничего не говорил, только улыбался и время от времени повторял, что черви богаты белком. Однажды он вернулся домой весь в крови и ссадинах, и мы с папой решили, что его подстерегли и поколотили парни постарше или кто-нибудь из родителей.

О том, что в городе стали пропадать собаки, заговорили за пару недель до того, как кто-то из детей увидел Эрика с йоркширским терьером: Эрик облил собаку бензином и поджег. Родители поверили им и отправились на поиски Эрика; они застали его за тем же занятием — на этот раз со старой дворнягой, которую он приманил анисовым драже. Погоня была довольно долгой, родители загнали Эрика в лес за городом, но там он сумел оторваться.

Тем вечером Диггс опять объявился на острове и сказал, что арестует Эрика за нарушение общественного порядка. Он прождал допоздна, выпил всего пару стопок предложенного отцом виски, но Эрик так и не вернулся. Диггс уехал, отец остался сидеть и ждать, но Эрик не приходил. Объявился он лишь через три дня и пять собак, отощавший, немытый, пропахший бензином и дымом, с чумазыми ввалившимися щеками и в насквозь продранной одежде. Отец услышал, как он пришел рано утром, совершил налет на холодильник, разом наверстал упущенные приемы пищи и протопал наверх спать.

Папа на цыпочках спустился к телефону и позвонил Диггсу, который приехал перед завтраком. Но Эрик что-то увидел или услышал, потому что выскочил в окно своей спальни, слез по водосточной трубе и укатил на велосипеде Диггса. Поймали его по истечении недели и еще двух собак — застали за отсасыванием бензина из чьей-то машины. Когда они производили свой гражданский арест, Эрику сломали челюсть, и на этот раз он не сумел удрать.

Через несколько месяцев его признали невменяемым. Его испытывали и так и эдак, бесчисленное число раз он пытался бежать, набрасывался с кулаками на медбратьев, социальных работников и докторов и всех подряд грозил затаскать по судам или пришибить на месте. Медкомиссии продолжались, угрозы словом и действием тоже, и постепенно Эрика переводили в заведения все более и более строгого режима. Наконец, как мы слышали, больница южнее Глазго оказала на него умиротворяющее воздействие, и новых попыток побега он не предпринимал; но задним числом выяснилось, что он просто усыплял их бдительность — и, судя по всему, вполне успешно.

А теперь он возвращался домой повидать семью.

Глядя в бинокль, я медленно обвел панораму от юга до севера, от марева до марева; я видел город, шоссейные дороги и рельсовые пути, поля и пески, и я подумал, не попадает ли сейчас в поле моего зрения точка, где скрывается Эрик, не подобрался ли он уже так близко. Я чувствовал, что он недалеко. Никаких веских доводов я привести не мог, но времени прошло достаточно, и когда он вчера звонил, то слышно его было не в пример лучше, и... я просто это чувствовал. Вполне может быть, что до него рукой подать: лежит где-нибудь в укрытии и ждет, пока стемнеет, чтобы двинуться дальше, или крадется по лесу, или сквозь заросли утесника, или ложиной между дюнами по направлению к дому, или в поисках собак.

Я прошел по гряде холмов вдоль гребня и спустился в нескольких милях к югу от города, петляя между тенистыми елями и соснами, и тишину нарушало лишь отдаленное жужжание бензопил. Пересек железнодорожную ветку, волнующиеся на ветру ячменные поля, дорожку-грунтовку и овечье пастбище и вышел к пескам.

Я брел вдоль берега по плотно утрамбованному песку, в ногах зудела усталость. С моря задул бриз, и я был этому рад, потому что облака все пропали, а солнце, хоть и клонилось к закату, жарило довольно сильно. Я подошел к реке, которую сегодня уже пересекал в холмах, и пересек ее вторично, у моря, и стал подниматься в дюны, туда, где должен быть висячий мост. С моего пути разбегались овцы, стриженные и еще косматые, отбегали вприпрыжку, с надтреснутым блеянием и останавливались, полагая, что теперь они в безопасности, и снова принимались щипать траву с разбросанными там и тут цветами.

Помнится, когда-то я презирал овец за их феноменальную глупость. Я смотрел, как они жрут, жрут и жрут. Я видел, как одна собака может перехитрить целую отару, я сам гонял их и смеялся над их неуклюжим бегом, я видел, в какие дурацкие ситуации они попадают сплошь и рядом по собственной доброй воле, и думал, что бараниной они кончают вполне закономерно, а эксплуатация в качестве ходячих комбинатов по производству шерсти — это еще слишком гуманно. Лишь через несколько лет до меня наконец дошло, что же символизируют овцы на самом деле: не собственную глупость, но нашу силу, нашу алчность и самомнение.

Осознав теорию эволюции, усвоив азы животноводства в историческом аспекте, я увидел, что курчавые белые звери, над которыми я так смеялся за их стадный инстинкт и вечное застревание в кустах, являют собой плод не только многочисленных поколений овец, но и, ничуть не в меньшей степени, многочисленных поколений овцеводов; это мы сделали их такими, мы перелепили их предков — умных и диких победителей в

борьбе за выживание — в пугливых покорных глупых вкусных производителей шерсти. Нам не нужен был их ум, и овечий интеллект приказал долго жить вместе с агрессией. Бараны, конечно, сообразительней, но даже их унижает общество безмозглых самок, которых они должны оплодотворять.

Тот же принцип применим к курам, коровам — да почти ко всему, на что мы сумели более-менее надолго наложить нашу жадную лапу. Порой у меня мелькает мысль, что нечто подобное могло произойти и с женщинами, но, как ни привлекательна эта теория, боюсь, что я ошибаюсь.

Вернулся я ровно к обеду и голодный как волк; проглотил бифштекс с яичницей, жареным картофелем и горошком и просидел остаток вечера перед телевизором, спичкой выковыривая из зубов ошметкидохлой коровы.

Меня дико раздражало, что Эрик сошел с ума. Конечно, произошло это не в одночасье (нормальный, нормальный — потом бац, и псих), но вряд ли кто-нибудь усомнится, что история с улыбающимся ребенком что-то бесповоротно изменила в Эрике, запустила какой-то процесс, который неминуемо должен был привести к безумию. Что-то в нем не могло свыкнуться с происшедшим, не могло примирить увиденное с его представлением о том, как должно быть. Возможно, в глубине души, под всеми культурными наслоениями (как древнеримские развалины в современном городе), Эрик все еще верил в Бога и не вынес осознания того, что Он (если Он действительно существует) способен допустить, чтобы такое произошло хотя бы с одним из существ, якобы сотворенных Им по Своему образу и подобию.

Что бы ни надломилось тогда в Эрике — это была слабость, изначальный изъян, которого не должно быть у настоящего мужчины. Женщины, насколько я могу судить по сотням, если не тысячам фильмов и телепрограмм, не выдерживают серьезных потрясений: скажем, изнасилуют их, умрет любимый человек — и они тут же ломаются, сходят с ума, или кончают с собой, или просто умирают от горя. Я, конечно, понимаю, что не все женщины так реагируют, бывают исключения — которые, как известно, лишь подтверждают правило; и те, кто под это правило не подходит, составляют крошечное меньшинство.

Есть, конечно, и сильные женщины — женщины, в чьем характере гораздо больше мужского, чем у остальных. Так вот, я подозреваю, что Эрик не выдержал, поскольку в его характере было много женского. Эта его чуткость, и вечное стремление не навредить, и хрупкий, при всем своем блеске, талант, — очевидно же, откуда ноги растут. До того происшествия это никак ему не мешало, — но в критический момент он дал слабину и сломался.

Винить во всем следует отца и ту глупую сучку, которая бросила его ради кого-то другого. Отец виноват хотя бы в этом стародавнем маразме — что позволял Эрику одеваться как бог на душу положит, предоставив малышу самому выбирать между штанишками и платьями. Хармсуорт и Мораг Стоув имели все основания беспокоиться за племянника и очень правильно сделали, что предложили взять его к себе на воспитание. А ведь

все могло бы сложиться иначе — если бы не эти папочкины завиральные идеи, если бы мама не возненавидела Эрика, если бы Стоувы забрали его чуть раньше... Но что случилось, то случилось, а раз так, то хотелось бы надеяться, что папа винит себя не меньше, чем я его. Хотелось бы, чтоб он ощущал вес этой вины все двадцать четыре часа в сутки, чтобы не знал ни сна ни покоя и просыпался в холодном поту от ночных кошмаров, если ему таки удастся заснуть. Он это заслужил.

Вечером после моей вылазки в предгорья Эрик не звонил. Спать я пошел довольно рано и, сморенный усталостью, дрых без задних ног, но телефон все равно слышал бы. На следующий день я встал в свое обычное время, прогулялся вдоль берега, пока прохладно, вернулся как раз к завтраку, и мы плотно поели горячего.

Мне было беспокойно, отец сидел на удивление тихо, а солнце так быстро накалило дом, что даже при распахнутых окнах стояла страшная духота. Я слонялся по комнатам, выглядывал наружу, прикрыв глаза ладонью, озираю окрестности. Когда отец задремал в шезлонге, я поднялся к себе, переоделся в футболку и легкий жилет с карманами, наполнил их полезными вещами, вскинул на плечо рюкзачок и отправился осматривать подступы к острову, предполагая заодно наведаться на свалку, если, конечно, мух будет не слишком много.

Я надел противосолнечные очки, в коричневых «полароидах» краски стали еще резче. Стоило выйти из дома, и я тут же начал потеть. Вялый теплый ветерок, совсем не освежающий, неуверенно задувал то с одной, то с другой стороны и пах цветами и травами. Я размеренно шагнул по тропинке, через мост и вдоль речки по дальнему берегу, перепрыгивал ручейки и протоки и, дойдя до места, где обычно строю плотины, отвернул на север. Дальше я двинулся по гребням дюн, невзирая на жару и то усилие, с каким давался подъем по их южному склону; но мне был нужен идеальный обзор.

В знойном мареве все вокруг плыло и мерцало, слепило до боли в глазах, меняло очертания. Раскаленный песок обжигал, вокруг вилась и жужжала всякая мошкара, и мне постоянно приходилось отмахиваться.

Периодически я скидывал бинокль и, отерев лоб, вглядывался в искаженную маревом даль. Голова чесалась от пота, в промежности зудело. Я чаще обычного проверял взятое снаряжение, рассеянно подбрасывал на ладони холщовый мешочек подшипниковых шариков, трогал охотничий нож и рогатку у пояса, смотрел, на месте ли зажигалка, бумажник, расческа, зеркальце, ручка и блокнот. То и дело я прикладывался к фляжке,

хотя вода успела нагреться и уже казалась затхлой.

У полосы прибоя мне бросились в глаза кое-какие любопытные Дары Моря, но я продолжал держаться дюн, углубляясь на север, минуя ручейки и заболоченные озерца, миновав Бомбовый Круг и то безымянное место, откуда отправилась в полет Эсмерельда.

Я вспомнил об этом, лишь когда они уже остались позади.

Примерно через час я повернул от берега и, пройдя немного вглубь, двинулся на юг последней цепочкой дюн, тянувшейся вдоль заросшего кустарником пастбища, где щипали траву овцы, похожие издали на толстых ленивых личинок. В какой-то момент я замер и долго разглядывал огромную птицу, парившую в вышине на восходящих воздушных потоках. Эшелоном ниже кружили чайки, расправив крылья, искательно вытянув шеи. На гребне дюны я обнаружил дохлую лягушку, покрытую заскорузлой кровью и припорошенную песком, и удивился, как она туда попала. Наверно, какая-нибудь птица выронила.

В конце концов я натянул свою зеленую кепку с козырьком, чтобы солнце не било в глаза, и свернул на тропинку, примерно на уровне дома и острова. Время от времени я поглядывал в бинокль. В миле от меня за деревьями проходила автострада, и между стволами проблескивали грузовики и легковушки. Однажды над головой прожужжал вертолет — скорее всего, курсом на какую-нибудь из буровых вышек или к трубопроводу.

В начале первого за чахлыми деревцами показалась свалка. Я уселся в тени и оглядел территорию в бинокль. Чаек было хоть пруд пруди, людей же — ни человека. В центре что-то горело и вился слабый дымок, а вокруг простирались залежи всевозможного хлама из города и окрестностей: картонные коробки, черные пластиковые мешки, сияющие ржаво-эмалевым блеском старые стиральные машины, газовые плиты и холодильники. Вскинулся слабенький смерчик, закружил разбросанную бумагу и тут же утих.

Я двинулся через свалку — осторожно ступая, смакуя сладковатый аромат гнили. Поковырял носком какой-то на первый взгляд интересный мусор, но ничего достойного так и не нашел. Что я особенно ценю в нашей свалке, и чем дальше, тем больше, так это ее изменчивость: она как живой растущий организм, исполинская амеба, распространяющая свои ложноножки во все стороны, заглатывая чистую землю и городской мусор. Но сегодня она казалась какой-то унылой и скучной. Меня это разозлило, если не сказать взбесило. Я швырнул пару аэрозольных баллончиков в тлеющий посредине костерок, но и они лениво, едва слышно хлопнули в

бледных язычках пламени — так что не ахти какое развлечение. И, оставив свалку, я опять зашагал на юг.

У речушки, примерно в километре от свалки, располагалось большое бунгало с видом на море. Дом давно стоял заколоченный, там никто не жил, и на ухабистой дорожке, ведущей мимо него к морю, я не увидел никаких свежих следов. По этой самой дорожке Вилли, другой приятель Джейми, как-то возил нас на своем старом мини-вэне; здорово мы тогда покуролесили в дюнах.

Я заглянул поочередно во все окна; комнаты были пусты, по темным углам пряталась разномастная мебель, на вид запыленная и неухоженная. На столе валялся старый журнал, с одного угла выгоревший от солнца. Пристроившись в тени фронтона, я допил воду из фляжки, снял кепку и отер лоб платком. Со стрельбища, расположенного дальше по берегу, доносились приглушенные разрывы; в какой-то момент над спокойным морем пронесся реактивный истребитель, курсом на запад.

Чуть в стороне от дома начиналась гряда низких холмов, поросших утесником и низкорослыми, перекошенными на морском ветру деревьями. Я навел на них бинокль, отгоняя мух; у меня начала побаливать голова и во рту пересохло, хотя я только что выпил остатки теплой воды. Опустив бинокль и снова надев темные очки, я вдруг услышал.

Где-то кто-то завыл. Какое-то животное — очень хотелось бы надеяться, что не человек, — кричало от боли. От невыносимой боли. Вой шел по нарастающей, мучительный вой, зависший на ноте, которую животное способно взять только в свой смертный час, и я невольно содрогнулся. Это неправильно, пронеслось у меня в голове; так нельзя, ни с кем, ни с одним живым существом.

Я сидел, обливаясь потом, который, казалось, тут же испарялся с зудящей пересохшей кожи; пекло, как в духовке, но меня бил озноб. Меня трясло с головы до пят — как трясется, выходя из воды, собака, от носа до хвоста. Слипшиеся волосы на моем потном затылке встали дыбом. Я вскочил, проскреб руками по теплой деревянной стене, придержал подпрыгнувший на груди бинокль. Вой доносился со стороны холмов. Я поднял на макушку очки, снова вскинул бинокль и крепко ушиб окулярами надбровные дуги, наводя резкость. У меня тряслись руки.

Из зарослей утесника выскочило черное существо, волоча за собой шлейф дыма. Оно устремилось вниз по склону, у подножия которого пожухлая трава переходила в живую изгородь. Я пытался не потерять его из виду, но бинокль ходуном ходил в моих руках. В воздухе разносилось пронзительное завывание, такое, что мороз по коже. На мгновение поле

зрения перекрыли кусты, и я лихорадочно закрутил головой, но зверь быстро нашелся: охваченный пламенем, он неслся по траве, затем, поднимая брызги, через камыши. Во рту у меня все пересохло; я не мог сглотнуть, я задыхался, но не отрывал взгляда от бедной твари: вот она поскользнулась на повороте, с визгом подлетела в воздух, упала, забилась на месте. И вдруг пропала — в нескольких сотнях метров от меня и примерно на таком же расстоянии от кустов на макушке холма.

Я быстро перевел бинокль на холм, осмотрел гребень по всей длине, затем повел обратно, потом снова вниз, вверх, еще раз вдоль, вперился в одинокий куст, тряхнул головой — и снова повел бинокль вдоль гребня. Где-то в уголке сознания мелькнула совершенно неуместная мысль о том, как в каком-нибудь фильме, когда кто-то смотрит в бинокль и показывают, что он якобы видит, обычно это перевернутая на бок восьмерка, но, когда я смотрю в бинокль, поле зрения составляет, можно сказать, идеальный круг. Я опустил бинокль, быстро огляделся, никого не увидел и, выскочив из тени дома, перепрыгнул проволочную ограду сада и со всех ног припустил к холму.

На вершине я чуть не пополам перегнулся, восстанавливая сорванное дыхание; пот с моей коротко стриженной головы беспрепятственно капал на ярко-зеленую траву. Футболка прилипла к спине. Я уперся ладонями в колени, поднял голову и напряг зрение, всматриваясь в плотные заросли утесника с возвышающимися кое-где деревцами. Осмотрел дальний склон холма, осмотрел поля вплоть до следующей линии кустов, за которыми уже начиналась выемка железнодорожного пути. Потом припустил трусцой вдоль гребня, озираясь на ходу, пока не обнаружил пяточок горящей травы. Затаптал огонь, поискал следы и нашел их. Я ускорил бег, хотя гортань и легкие протестовали; снова наткнулся на горящую траву и только что занявшийся куст. Я сбил пламя, побежал дальше.

В узкой низине на дальнем от моря склоне деревья росли почти нормально, и только верхушки их, открытые ветру, имели характерную перекошенную форму. Не чуя под собой ног, я скатился с гребня в поросшую густой травой ложинку, топча рваную тень вяло колышущейся листвы, и там обнаружил выгоревший пяточок с выложенными по кругу камнями. Оглядевшись, я заметил участок примятой травы. Остановился, перевел дух, снова оглядел деревья, траву и папоротник, но ничего особенного не увидел. Тогда я подошел к камням, попробовал их на ощупь, потрогал гарь и пепел внутри каменного круга. Они были горячие, слишком горячие — при том, что находились в тени. И пахло бензином.

Я выбрался из низинки, залез на дерево и долго изучал окрестный пейзаж, по необходимости прибегая к биноклю. Никого и ничего.

Спустился, постоял секунду-другую, набрал полную грудь воздуха и устремился вниз по обращенному к морю склону, забирая в ту сторону, куда, насколько я помнил, стремилась собака; только она бежала зигзагом, а я — напрямик. Лишь однажды отклонился от курса — затоптать очередной костерок. Перепугал овцу, которая объедала кустарник, сиганул через нее, не снижая скорости, и она с блеяньем ускакала.

Собака лежала в ручье, вытекавшем из болотца. Она была еще жива, но черная шерсть выгорела почти полностью, оголенная кожа побагровела, сочилась кровью. Собаку била мелкая дрожь, и я, стоя над ней на берегу, тоже содрогнулся. Она подняла трясущуюся голову и взглянула на меня одним уцелевшим глазом. Вокруг нее плавали комковатые клочья обгорелой шерсти. Слабенько повеяло горелым мясом, и в горле у меня встал комок, чуть ниже адамова яблока.

Я достал мешочек железных шариков, извлек один, вложил в резинку заблаговременно снятой с пояса рогатки, оттянул до уха, касаясь скользкой от пота щеки, — и спустил резинку.

Собачья голова вскинулась из воды, упала с фонтаном брызг и снова вскинулась; обгорелое тельце отнесло от берега и подхватило течением, но через метр-другой снова прибило к берегу. Из дырки на месте того глаза стекал ручеек крови.

— Фрэнк этого так не оставит, — прошептал я.

Я вытащил собаку из воды, отволол чуть выше по течению и выкопал ножом яму в торфяной почве, с трудом удерживаясь от тошноты, так от труп воняло. Похоронил животное, снова огляделся, прикинул направление посвежевшего бриза и, отойдя в сторонку, поджег траву. Небольшой, но жаркий вал пламени прокатился над остатками собачьего огненного пути и над ее могилой, остановившись у воды — как я и думал. Осталось лишь затоптать костерок-другой на том берегу, куда ветер занес несколько угольков.

Покончив с делом — следы уничтожены, земля выжжена, — я припустил к дому.

На обратном пути происшествий не было. Дома я выхлебал две пинты воды, потом набрал прохладную ванну и залез отмокать, поставив картонный пакет апельсинового сока на плоский эмалированный край. Меня все еще трясло, и я долго вымывал из волос запах гари. Снизу

повеяло вегетарианской кухней — папа затеял готовить обед.

Я был уверен, что чуть не встретил брата. Вряд ли он там ночевал, решил я, но он там был, это точно; мы разминулись всего на чуть-чуть. Мысль эта, пожалуй, принесла мне облегчение, что было нелегко признать, но против правды не попрешь.

Я погрузился поглубже, ушел под воду с головой.

На кухню я спустился в халате. Отец сидел в жилете и шортах и, опершись локтями о стол, читал «Инвернесский курьер». Я поставил сок в холодильник и приподнял крышку кастрюли, в которой варилось карри. В качестве гарнира был предусмотрен салат. Отец, не обращая на меня внимания, листал газету.

— Жарко сегодня, — сказал я, потому что больше сказать было нечего.

— Угу.

Я уселся напротив. Отец, не поднимая головы, перелистнул следующую страницу. Я прокашлялся.

— Около нового дома сегодня пожар был. Я увидел и потушил, — сообщил я, чтобы обеспечить прикрытие.

— Ну так самая погода, — отозвался отец, по-прежнему не глядя на меня.

Я задумчиво кивнул и почесал в промежности через махровую ткань халата.

— В прогнозе передавали, что завтра к вечеру вроде должно ливануть. — И я пожал плечами. — Легко им говорить...

— Поживем — увидим, — сказал папа, сложил газету первой страницей кверху и встал глянуть на карри. Я снова кивнул и, поигрывая концом пояса от халата, украдкой покосился на газету. Отец склонился над кастрюлей, приняхиваясь к мешанине. Я не отрывал глаз от газетного листа.

Взглянув на отца, я поднялся, зашел за спинку стула, на котором он сидел, и встал у двери, задрав голову так, будто изучаю небо, а на самом деле косился на газету. «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЖАР В ДАЧНОМ ДОМИКЕ», — гласил заголовок статьи в нижнем левом углу первой полосы. Маленький коттеджик к югу от Инвернесса сгорел дотла незадолго до подписания номера в печать. Полиция ведет расследование.

Я вернулся на свое место и сел.

Наконец настал черед карри с салатом, и я снова начал потеть. Раньше я думал, со мной что-то не в порядке, так как стоит мне поесть с утра карри, и потом целый день подмышки благоухают им, но, когда выяснилось, что и у Джейми такое бывает, я успокоился. Я съел карри,

потом банан с йогуртом, но мне все равно было жарко, а папа, который всегда отличался несколько мазохистским отношением к данному блюду, на сей раз оставил почти половину своей порции недоеденной.

Я все еще был в халате и смотрел телевизор в гостиной, как вдруг зазвонил телефон. Я метнулся к двери, но, услышав, что отец выходит из своего кабинета и идет к аппарату, замер в проеме. Слышно почти ничего не было, но потом на лестнице зазвучали шаги, и я по-быстрому плюхнулся в кресло, уронил голову на спинку, закрыл глаза и приоткрыл рот. Отец заглянул в дверь:

— Фрэнк! Это тебя.

— Мм?.. — промычал я, потягиваясь, медленно поднял голову, разлепил веки, глянул на экран и нетвердо поднялся на ноги. Отец оставил дверь открытой и ретировался в кабинет. Я подошел к телефону:

— Мм... Алло?

— Аллоу? Это Френк? — поинтересовались в трубке с подчеркнuto английским выговором.

— Да, я. Слушаю! — озадаченно ответил я.

— Хе-хе, малыш Фрэнки! — воскликнул Эрик. — Вот я и здесь! В самом, можно сказать, предсердии ваших лесов, а то и в желудочке, и питаюсь, надо отметить, старыми добрыми «горячими собаками»! Хо-хо! Ну что, братишка, как жизнь молодая? Звезды благопритствуют, а? Ты, кстати, кто по гороскопу? Что-то я запамятовал.

— Пес.

— Гав! Неужто?

— Честное слово. А ты? — спросил я, прилежно воспроизводя один из наших старых номеров.

— Рак! — взвизгнул он.

— Доброкачественный или злокачественный? — поинтересовался я устало.

— Злокачественный! — гаркнул он. — Я тут как раз вшей подхватил, рачков этих кусачих. Крабовидная туманность!

Я отдернул трубку от уха и все равно слышал его гогот.

— Эрик, послушай... — начал я.

— Как живете? Как животик? Как живо-тик-так? На здоровье не жалуетесь? И вообще? Как оно? С писком и с визгом? Типа, где твоя башка в данный момент времени, а? Ой, Фрэнк, а ты знаешь, почему «вольво» свистят? И я не знаю, но кому какое дело? Как там Троцкий говорил? «Сталин мне нужен, как дырка в башке». Ха-ха-ха-ха-ха! На самом деле не

люблю я эти немецкие машины; слишком у них фары близко посажены. Фрэнки, ты там как?

— Эрик...

— В кровать, уснуть; и подрочить, быть может. Вот в чем трудность!^[7]
Хо-хо-хо!

— Слушай, Эрик, — вклинился я и, удостоверившись, что отца поблизости нет, выдал: — Заткнулся бы ты, а?

— Чего-чего? — тихо проговорил Эрик с обидой в голосе.

— Собака, — прошипел я. — Я видел сегодня эту собаку. Возле нового дома. Я там был. И все видел.

— Какая еще собака? — с недоумением переспросил Эрик. Я услышал его тяжелый вздох, и в трубке что-то звякнуло.

— Эрик, хватит со мной в прятки играть! Я все видел. Я хочу, чтобы ты прекратил, ясно? Хватит собак! Слышишь? Ты меня понял? Ну?!

— Что «ну»? Каких таких собак?

— Ты меня слышал. Ты уже слишком близко. Хватит собак. Оставь их в покое. И детей тоже. Чтобы больше никаких червяков. Забудь ты о них. А если хочешь нас повидать — заходи, мы будем рады. Но никаких червей, никаких горящих собак. Учти, Эрик, я серьезно. Можешь поверить.

— Чему поверить? Ты это вообще о чем? — заголосил он жалобно.

— Ты все слышал, — ответил я и повесил трубку.

Но остался стоять у телефона, поглядывая на верхнюю площадку. Через несколько секунд снова раздался звонок. Я поднял трубку, услышал пиканье и бросил ее на рычаг. Постоял еще несколько минут, но все было тихо.

Я стал спускаться в гостиную, и тут из кабинета вышел отец, протирая руки тряпкой и глядя на меня широко раскрытыми глазами. В коридоре повеяло странным запахом.

— Кто это был?

— Да просто Джейми, — ответил я. — Покривляться, видите ли, решил.

— Ну-ну, — с явным облегчением произнес отец и снова исчез в кабинете.

В дальнейшем из кабинета не доносилось ни звука — кроме отрывки от карри. Вечером, когда жара спала, я обошел остров по периметру, всего один раз. С моря напозлали облака, словно затягивая небо шторами и силком сгоняя все дневное тепло на остров. Где-то за холмами пророкотал гром, но молний не было. Спал я тревожно, всю ночь крутился в кровати, обливаясь потом, пока над песками не вспыхнули багровые прожилки

рассвета, как налитый кровью глаз.

Очнувшись после очередного раунда беспокойного сна, я обнаружил, что ватное одеяло свалилось на пол. И все равно я был весь в поту. Я встал, принял душ, тщательно побрился и поднялся на чердак, пока крыша не слишком раскалилась от солнца.

На чердаке было очень душно. Я распахнул слуховые окна, высунул голову и тщательно осмотрел в бинокль сушу и море. Небо по-прежнему было затянуто; свет казался усталым, а с моря веяло какой-то тухлятиной. Я немного повозился с Фабрикой, задал корма пауку, муравьям и венериной мухоловке, протер стекло над циферблатом, проверил аккумуляторы и провода, смазал петли на дверцах и прочие механизмы — просто чтобы как-то развеяться. Вытер пыль с алтаря, аккуратно все на нем расставил, выверил по линейке расстояние между банками-склянками — чтобы все было симметрично.

За это время я снова успел вспотеть, но вторично лезть в душ поленился. Папа уже встал, и, пока он готовил завтрак, я посмотрел по телевизору что-то из утренних субботних программ. За завтраком не было сказано ни слова. Потом я обошел остров по всему периметру, на всякий случай захватив из Бункера мешок с черепами и тушками.

Обход продолжался дольше, чем обычно, поскольку я то и дело взбирался на верхушку ближайшей дюны и осматривал прилегающую территорию. Но так ничего и не высмотрел. Головы на Жертвенных Столбах были в довольно приличном состоянии. Заменить понадобилось разве что пару мышинных черепов — вот, собственно, и все. Остальные головы и вымпела были в целости и сохранности. На склоне дюны, обращенном к городу, я обнаружил мертвую чайку — клювом к центру острова. Голову я взял, остальное закопал под столбом; она уже начинала подванивать, так что я засунул ее в полиэтиленовый пакетик и положил в мешок, к черепам и тушкам.

Я услышал, а потом и увидел, как вспорхнули и закружились птицы, значит, кто-то шел по тропинке; но я знал, что это всего лишь миссис Клэмп. Я взобрался на дюну и увидел, как она подъезжает к мосту на своем древнем велосипеде с корзиной. Когда она скрылась из виду, я еще раз оглядел пастбища и дюны за ними, но там были одни лишь овцы и чайки. Над свалкой поднимался дым, и, если напрямь слух, можно было

расслышать мерное урчание старого дизеля на железной дороге. Небо оставалось затянутым, но не так плотно, а ветер — вялым и нерешительным. На море у горизонта виднелись золотые полосы, там, где под просветами в облаках поблескивала вода, — но это далеко, совсем далеко.

Я завершил обход Жертвенных Столбов, потом провел полчаса у старой лебедки, упражняясь в стрельбе. Я выставил пивные банки в ряд на ржавом кожухе барабана, отошел на тридцать метров и по очереди снял их из рогатки, причем на шесть банок у меня ушло всего девять шариков. Отыскав все шарики, кроме одного, я снова выставил банки и стал бить по ним камешками; на этот раз потребовалось четырнадцать бросков. Напоследок я несколько раз метнул нож в дерево у старой овчарни и с удовлетворением отметил, что довольно точно прикидываю, сколько раз нож перевернется в полете, прежде чем вонзиться — с глухим стуком и под прямым углом — в изрезанную вдоль и поперек кору.

Дома я помылся, передел рубашку и спустился на кухню. Миссис Клэмп как раз подавала первое блюдо — бульон, почему-то обжигаяще горячий. Я уселся и стал помахивать над своей тарелкой куском мягкого пахучего белого хлеба, тогда как миссис Клэмп уже шумно хлебала из своей, а папа крошил в свою хлеб с отрубями (только что не со стружкой).

— Ну а вы как поживаете, миссис Клэмп? — любезно поинтересовался я.

— Кто, я? Я-то хорошо, — отозвалась миссис Клэмп и сосредоточенно задвигала бровями, словно пытаюсь поймать спущенную петлю на вязании. Предельно насупившись и обращаясь теперь к зависшей под самым ее подбородком капающей ложке, она подтвердила: — Да, лично я — хорошо.

— При такой-то жаре? — хмыкнул я, продолжая обмахивать свой суп под грозным прицелом отцовского взгляда.

— Лето же, — пояснила миссис Клэмп.

— Ах да, — сказал я. — А я и забыл. — И замурлыкал себе под нос.

— Фрэнк, — прошамкал отец с полным ртом овощей и стружки, — сдается мне, ты забыл, какова емкость этих ложек, а?

— Одна шестнадцатая пинты? — отчеканил я на голубом глазу.

Отец помрачнел еще сильнее и отправил в рот очередную ложку супа. Я продолжал махать своим ломтем, прервавшись только для того, чтобы разболтать ложкой коричневую пленку на поверхности бульона. Миссис Клэмп снова принялась хлебать.

— А как дела в городе, миссис Клэмп? — поинтересовался я.

— В городе-то? Насколько я знаю, прекрасно, — сообщила миссис

Клэмп своему супу. (Я кивнул. Папа подул на ложку.) — Говорят, у Маккизов пропала собака, — добавила миссис Клэмп.

Я слегка вздернул брови и озабоченно хмыкнул. Папа остолбенел, и с его ложки, кончик которой стал потихоньку опускаться после слов миссис Клэмп, в тарелку заструился суп. В тишине кухни это прозвучало словно льющаяся в унитаз моча.

— Надо же! — воскликнул я, не переставая обмахивать свой суп. — Какая жалость. Хорошо, хоть братца поблизости нет, а то как пить дать на него бы всех собак навешали, — улыбнулся я, поглядывая то на отца, то на миссис Клэмп, которая щурилась на меня сквозь пар, поднимающийся от супа.

Мой ломоть-опахало впитал слишком много влаги и разломился пополам. Я ловко подхватил падающий кусок свободной рукой и положил его на блюдце рядом с тарелкой, затем взял ложку и осторожно попробовал бульон.

— Хм-м, — протянула миссис Клэмп.

— Миссис Клэмп не смогла сегодня купить твоих бифбургеров, — сказал папа, поперхнувшись на слове «не», — так что купила вместо них фарш.

— Профсоюзы! — мрачно изрекла миссис Клэмп и в сердцах плюнула в суп.

Я поставил локоть на стол, оперся щекой о кулак и воззрился на нее в ожидании продолжения. Продолжения не последовало. Миссис Клэмп даже не подняла головы; в конце концов я пожал плечами и занялся супом. Отец отложил ложку, вытер лоб рукавом и попытался ногтем извлечь застрявший в зубах здоровый кусок стружки.

— А знаете, миссис Клэмп, вчера возле нового дома был маленький пожар. И я его потушил! Я был рядом, вовремя увидел и потушил.

— Уже и расхвастался, — пробурчал папа. Миссис Клэмп хранила молчание.

— Но я действительно его потушил, — улыбнулся я.

— Сомневаюсь, чтобы миссис Клэмп это было интересно.

— Не скажите! — вскинулась миссис Клэмп и почему-то закивала.

— Вот видишь, — ухмыльнулся я, глядя на отца, и кивнул миссис Клэмп, которая продолжала шумно хлебать. И снова замурлыкал себе под нос.

Когда ели второе (рагу), я помалкивал, а за традиционным десертом (ревень с заварным кремом) отметил, что у него появился какой-то новый привкус; хотя, по правде говоря, молоко, из которого делали крем, явно

было скисшим. Я улыбался, отец ворчал, а миссис Клэмп с хлюпаньем втягивала крем и выплевывала куски ревеня на салфетку. Впрочем, ее можно понять — ревень был недоварен.

Обед чрезвычайно подбодрил меня, и, хотя вторая половина дня выдалась еще жарче, я ощущал прилив сил. Яркие полосы на море у горизонта исчезли, и фильтрующийся через облака свет казался на удивление плотным, — вероятно, из-за накапливающегося атмосферного электричества. Бодрой трусцой я проверил оборонительные рубежи; затем проследил, как уехала в город миссис Клэмп, дал в том же направлении несколько стометровок, забрался на высокую дюну и стал обозревать в бинокль изнемогающую от жары землю.

Как только я перестал двигаться, с меня ручьями полил пот и в голове загудело. Я выпил взятую с собой воду, потом снова наполнил флягу в ближайшем ручейке. Отец безусловно прав: овцы действительно гадят в ручьи; но я был уверен, что за годы своих гидротехнических работ успел выработать иммунитет к любой заразе из местных рек и речушек. Выпив больше воды, чем хотелось, я вернулся на гребень дюны. Вдали на траве неподвижно лежали овцы. Даже чайки куда-то пропали, и только мухи не снижали активности. На свалке что-то продолжало тлеть, и еще один дымок курился над лесопилкой в холмах, поставлявшей древесину целлюлозно-бумажному комбинату на берегу залива. Я напряг слух, пытаюсь различить гудение пилорам, но ничего не услышал.

Эту южную панораму я и рассматривал в бинокль, как вдруг в поле зрения промелькнула фигура отца, и я подумал, не померещилось ли. Перенацелил бинокль — да, это действительно он, идет по тропинке, ведущей в город. Я смотрел прямо на Трамплин и видел, как отец взбирается на ту дюну, с которой я любил съезжать на велосипеде. Когда я заметил его в первый раз, он уже достиг собственно Трамплина. Перед вершиной отец споткнулся, но сумел удержать равновесие и шага не сбавил. Наконец его кепка исчезла за гребнем. Мне показалось, что он нетвердо держится на ногах, совсем как пьяный.

Я опустил бинокль и потер зачесавшийся подбородок. Сплошные сюрпризы. Он ничего не говорил о том, что собирается в город. Интересно, что он задумал?

Сбежав с дюны, я перепрыгнул ручей и на крейсерской скорости устремился к дому. Ворвался в заднюю дверь и сразу учуял запах виски. Я прикинул, как давно мы ели и когда ушла миссис Клэмп. Час или полтора назад. Войдя в кухню, где запах виски ощущался особенно сильно, я

обнаружил на столе пустую бутылочку скотча (молт^[8]), а рядом — лежащий на боку стакан. Я поискал в раковине второй стакан, но там была лишь стопка грязных тарелок. Я нахмурился.

Оставлять невымытую посуду совершенно не в папиных привычках. Я взял бутылку и поискал на этикетке черную отметку шариковой ручкой, но не нашел. Значит, бутылка вполне могла быть свежечпчатой. Я покачал головой, промокнул лоб посудным полотенцем. Снял жилет с карманами и повесил на спинку стула.

Потом вышел в прихожую и, подняв взгляд, сразу увидел, что трубка снята с рычага и болтается рядом с телефоном. Взлетел наверх, схватил ее и приложил к уху. Гудки звучали странно. Я повесил ее на рычаг, выждал несколько секунд, снова снял и услышал обычный непрерывный гудок. Швырнул ее на место и, одолев еще один лестничный марш, ринулся к кабинету, крутанул ручку, навалился на дверь всем весом. Как влитая.

— Вот черт! — сказал я себе.

Картина происшедшего была ясна как день, я лишь надеялся — а вдруг папа забыл запереть кабинет? Как же, забудет он! Должно быть, позвонил Эрик. Папа берет трубку, потрясен до глубины души, решает нажраться. Потом выдвигается в город, наверно, за добавкой. Либо в магазин, либо... — я глянул на часы, — когда там «Роб Рой» начинает работать и в дневное время, не с этих ли выходных... Я махнул рукой: да какая разница. Должно быть, позвонил Эрик. Папа от расстройства залил глаза. Теперь вот направляется в город — либо залить еще, либо повидать Диггса. Или, может, Эрик назначил встречу. Нет, вряд ли; тогда уж он для начала связался бы со мной.

Я вскарабкался наверх, в чердачный зной и духоту, распахнул слуховое окно с «материковой» стороны и уставился в бинокль на подступы к острову. Сбежал вниз, вышел из дома, запер дверь и пустился трусцой через мост и дальше по тропинке, попутно забираясь на каждую высокую дюну. Все было как будто в полном порядке. На холме, где видел отца, над самым Трамплином, я остановился и сердито почесал в промежности. Я лихорадочно соображал, что делать дальше. Покидать остров не хотелось, но у меня было ощущение, что события, скорее всего, начнут развиваться в городе и окрестностях. Не позвонить ли Джейми, подумал я; но тот был не в лучшей форме для того, чтобы мотаться в поисках отца по всему Портенейлю или вынюхивать, не запахнет ли где горящей псиной.

Я уселся на тропинку и попробовал собраться с мыслями. Каким будет следующий ход Эрика? Он может подождать, пока стемнеет, и тогда двинется к дому (а к дому он двинется обязательно; не затем же он

проделал такой путь, чтобы в последний момент пойти на попятный?), а может, подумает, что раз уж рискнул позвонить, то терять ему все равно больше нечего, и сразу направится к дому. С другой стороны, он спокойно мог сделать это уже вчера. Так что же ему помешало? Не иначе как что-нибудь замышляет. Или я слишком грубо с ним поговорил. Идиот! Зачем я бросил трубку? Может, он надумал теперь сдаться, а может, задать деру. И все потому, что я отверг его — своего брата!

Я сердито покачал головой и встал. Так я ни до чего не додумаюсь. Следовало предполагать, что рано или поздно Эрик выйдет на связь. Значит, надо вернуться домой, куда он или позвонит, или в конечном итоге доберется. Вдобавок там сосредоточена вся моя сила и мощь; это место, которое мне больше всего нужно оборонять. На душе у меня сразу стало легко оттого, что план действий принят — даже если это план бездействия, — и я резвой трусцой припустил к дому.

Пока я отсутствовал, в доме стало совсем душно. Я рухнул на кухонный стул, отдышался, потом помыл стакан и убрал бутылку из-под виски. Вдоволь напился апельсинового сока, затем наполнил кувшин соком со льдом, взял пару яблок, полбуханки хлеба, отрезал сыра и перенес все на чердак. Достал стул, который обычно стоит на Фабрике без дела, водрузил его на помост из томов древней энциклопедии, снова распахнул слуховое окно с «материковой» стороны и соорудил себе подушку из старых выцветших штор. Устроился на своем маленьком троне, вооружился биноклем и стал вести наблюдение. Спустя какое-то время я раскопал на самом дне коробки с игрушками старый ламповый радиоприемник в бакелитовом корпусе и через адаптер подключил ко второму патрону на потолке. Поймал «Радио-три», где передавали оперу Вагнера; самое то, что надо, решил я и вернулся к слуховому окну.

В нескольких местах облачный покров разошелся, и сквозь медленно плывущие прорехи на землю падали яркие, с медным отливом, пятна солнечного света; иногда — прямо на дом. Я наблюдал, как неторопливо перемещается по кругу тень моего сарая по мере того, как день клонится к вечеру, и солнце также перемещается по кругу над лохматыми облаками. Новый жилой массив на лесистой горке за старыми портенейльскими кварталами лениво семафорил окнами: одни мало-помалу переставали отражать солнце, другие мало-помалу вспыхивали бликами, но не обходилось и без перебивок, если кто-нибудь открывал или закрывал окно или по муниципальной улице проползала машина. Я отпил сока и подержал во рту кубики льда. Окружающий дом веял раскаленным дыханием. Я

продолжал водить биноклем из стороны в сторону, с юга на север и обратно, расширяя зону видимости настолько, насколько это было возможно, так чтобы не вывалиться из слухового окна. Опера кончилась, ее сменила какая-то кошмарная современная музыка, нечто вроде дуэта Еретика-на-дыбе и Горящей Собаки, но выключать я не стал, поскольку сон она отгоняла исправно.

Телефон зазвонил уже ближе к шести. Я вскочил со стула, нырнул в открытый проем, скатился по лестнице, подхватил телефонную трубку и вскинул к уху — все одним плавным движением. Меня даже гордость взяла — как здорово у меня сегодня с координацией, и я более или менее спокойно ответил:

— Алло?

— Фрэн... — проямлил отец, заикаясь и глотая звуки. — Фрэн... э-ты?

Я позволил себе вложить в голос максимум презрения:

— Да, папа, это я. Что такое?

— Я... я в г-городе, сынок, — еле слышно проговорил он, будто вот-вот расплчется, и глубоко вздохнул. — Фрэн... т-ты знаешь, я... я всегда любил т-тебя... Я... я из г-города. Д-давай т-тоже сюда, сынок... тебе надо ко мне... в город. Сынок, они... поймали Эрика.

Я окаменел. Стоял и тупо разглядывал обои над телефонным столиком. Растительный орнамент — зеленое на белом, кое-где проглядывает что-то вроде решетки. И наклеены как-то криво. Надо же, никогда не обращал внимания на эти обои, по крайней мере все те годы, что подходил к телефону. Кошмарные обои. Как только папу угораздило выбрать такие.

— Фрэн... — Он прокашлялся. — Фрэнк, сынок, — произнес он более-менее четко, но опять сорвался: — Фрэн... т-ты слушаешь? С-скажи что-нибудь. Это ж я. С-скажи что-нибудь. Я... я сказал... они п-поймали Эрика. Т-ты слышал, сынок? Фрэнк?..

— Я... — Пересохший рот дал осечку, и слова застряли в горле. Я прокашлялся и начал снова: — Я все слышал, пап. Они поймали Эрика. Я слышал. Сейчас выхожу. Где встретимся, в полицейском участке?

— Н-нет, сынок, нет... Давай у б... библиотеки. Да, у б-библиотеки. Там ис-стретимся.

— У библиотеки?! — переспросил я. — Зачем это?

— Л-ладно, сынок... до-с-стречи. Давай ск-корее...

Послышался лязг — наверно, он не мог попасть по рычагу. Потом — отбой. Я медленно положил трубку. В груди колело, как ледяными иглами, сердце гулко бухало, и голова сделалась легкой-легкой.

Я постоял секунду-другую, затем поднялся на чердак закрыть слуховое окно и выключить радио. Ноги у меня гудели; пожалуй, в эти дни я немного переусердствовал.

Ветерок лениво гнал с моря дырявые облака. Для половины седьмого вечера было темновато, в рассеянном свете пересохшая земля казалась окутанной сумраком. Какие-то птицы при моем приближении апатично вспархивали, но большинство по-прежнему усеивало телефонные провода, змеившиеся на столбах-спичках до самого острова. Противным басом блеяли овцы, им тоненько вторили ягнята. Птицы сидели и чуть дальше, на изгородях колючей проволоки, разукрашенных грязными пучками овечьей шерсти. Несмотря на огромное количество выпитой за день воды, у меня снова начинало ломить в висках, и я вздохнул. Дюны постепенно понижались, вокруг лежали необработанные поля и лысоватые пастбища.

Перед последним спуском я присел передохнуть, откинулся спиной на песчаный бугорок и смахнул пот со лба. Вытер влажные ладони, оглядел замерших, как истуканы, овец, сонных птиц на проводах. В городе зазвонили колокола, наверно, в католической церкви. А может, народ прознал, что их треклятые собаки в безопасности. Я криво усмехнулся, фыркнул и перевел взгляд на шпиль пресвитерианской церкви. Еще чуть-чуть — и будет видна библиотека. Ноги протестовали в голос, и я подумал, что зря устроил привал. Только больше разболятся, когда двинусь дальше. Я прекрасно понимал, что просто тяну время, так же как тянул с выходом из дома после отцовского звонка. Снова окинул взглядом птиц, черневших на тех самых проводах, что принесли известие; будто ноты на нотных линейках. Один участок птицы почему-то игнорировали.

Я нахмурился, пригляделся, опять нахмурился. Машинально потянулся за биноклем, но загреб лишь ткань футболки: бинокль остался дома. Я поднялся и побрел по пересеченной местности прочь от тропинки, ускорил шаг, перешел на трусцу, потом рванул со всех ног, шурша густой жесткой травой; перемахнул через забор и выбежал на пастбище; овцы встрепнулись и с жалобным клохтаньем бросились врассыпную.

До столбов я добрался совсем бездыханный.

Нет, мне не померещилось. Со столба свисал только что обрезанный провод. Несколько птиц, вспорхнувших при моем приближении, с тревожными криками закружили в почти неподвижном воздухе, над пожухлой травой. Я подбежал к соседнему столбу. К нему было прибито мохнатое, черно-белое, еще кровоточащее ухо. Я тронул его и улыбнулся. Лихорадочно закрутил головой, но взял себя в руки. Повернулся лицом к

городу, где буравил небо церковный шпиль, словно обвиняющий перст.

— Ах ты, скотина лживая, — выдохнул я и рванул обратно к острову, на ходу набирая скорость.

Выскочил на тропинку и еще поднажал, взрыхляя утоптаный песок. Длинным прыжком перелетел через Трамплин. Я испустил торжествующий клич и замолк, решив поберечь дыхание для бега.

И вот я снова дома. Весь в мыле, я взлетел на чердак. По пути на всякий случай проверил телефон. Естественно, линия была мертва. На чердаке я первым делом распахнул слуховое окно и быстро оглядел окрестности в бинокль; потом сделал несколько дыхательных упражнений, привел в состояние боеготовности весь мой арсенал и снова включил радио, снова занял наблюдательный пост.

Он где-то здесь. Нет, ну что бы я делал, кабы не птички! Откуда-то изнутри вдруг накатил волна безудержной животной радости, и, несмотря на пекло, меня бросило в дрожь. А этот старый лживый козел пытался выманить меня из дома, потому что сам в штаны наложил. Господи, ну я и кретин! — не расслышать обмана в его проспиртованном голосе. И у него еще хватает наглости читать мне лекции о вреде алкоголя. Я-то хоть пью, когда знаю, что могу себе это позволить, а не в критической ситуации, когда требуется напряжение всех твоих сил. Дерьмо на палочке. Мужик, называется!

Я сделал еще несколько глотков сока из кувшина, который за время моего отсутствия даже не успел нагреться; съел яблоко, немного хлеба с сыром и продолжил наблюдение. Солнце стремительно клонилось к закату, облака затягивали небо, и быстро темнело. Восходящие воздушные потоки, пробившие днем бреши в облаках, улеглись; холмы и равнину вновь накрыло плотное одеяло, серое и бесформенное. Через какое-то время я опять услышал далекий гром, и в воздухе запахло грозой. Я сидел как на иголках и все ждал, что зазвонит телефон, хотя прекрасно понимал, что он не зазвонит. Скоро ли папа поймет, что я задерживаюсь? Или он думал, я примчусь на велосипеде? А может, свалился уже где-нибудь под забором или, пошатываясь, ведет сюда толпу горожан с факелами: держи Собакоубийцу!

Наплевать. Отсюда я даже в темноте увижу, если кто-нибудь появится, и всегда успею выйти поприветствовать братца — или сделать ноги, если нагрянут линчеватели. Я выключил радио, чтобы не заглушало криков, которые могут в любой момент донестись с «большой земли», и стал

буравить взглядом сумерки, изо всех сил напрягая зрение. Через какое-то время спустился в кухню, собрал кое-что из еды и, вернувшись на чердак, упаковал в холщовый мешочек. На тот случай, если придется выйти встретить Эрика. Он ведь, поди, голодный. Я уселся на стул и опять уставился в сгустившуюся тьму. Вдалеке на дороге у подножия холмов мелькали огни машин — словно передвижные маяки, то и дело скрывающиеся за деревом, за углом, за холмом. Я потер глаза и потянулся, пытаюсь стряхнуть усталость.

К сухому пайку я предусмотрительно добавил пачку болеутоляющего. В такую погоду у Эрика может разыгаться мигрень. Хотелось бы, конечно, надеяться, что до этого не дойдет.

Я зевнул, распахнул пошире глаза, съел очередное яблоко. Расплывчатые тени под облаками сделались еще темнее.

Я проснулся.

Было темно. Я по-прежнему сидел на стуле, уронив голову на руки, скрещенные на железном карнизе слухового окна. Что-то меня разбудило, какой-то шум в доме. Мое сердце бешено застучало, спина онемела от долгого сидения в неудобной позе. По рукам, затекшим от тяжести моей головы, побежали мурашки — это восстанавливалось кровообращение. Я крутанулся на стуле, резко и бесшумно. На чердаке было темно, хоть глаз выколи, но постороннего присутствия не ощущалось. Тронул кнопку на часах и увидел, что уже начало двенадцатого. Идиот! Надо же было столько продряхнуть. Потом снизу донесся слабый шум: неясные шаги, скрип двери, еще какие-то звуки. Звон разбитого стекла. Я почувствовал, как волосы у меня на затылке встают дыбом — второй раз за неделю. Стиснув зубы, я скомандовал себе прекратить панику и что-то предпринять. Это либо Эрик, либо отец. Сейчас вот спущусь и проверю. Для надежности прихватю нож.

Я встал со стула и вдоль кирпичной стены дымохода ощупью пробрался к выходу. У люка притормозил и выпустил футболку из штанов, чтобы прикрывала нож. Бесшумно спустился на темную площадку. В прихожей горел свет и отбрасывал на стены нижней площадки странные тени, какие-то желтые и тусклые. Я подошел к перилам, глянул вниз. Ничего не было видно. Шум стих. Тогда я повел носом.

Запах ощущался табачно-алкогольный, кабацкий. Значит, отец. У меня отлегло от сердца. И тут он вышел из гостиной. Вслед ему выплеснулась волна шума, словно океанский рев. Я отпрянул к стенке и наострил уши. Отец еле держался на ногах, налетал на стены, спотыкался о ступеньки.

Хрипло дышал и что-то бормотал себе под нос. Звуки и запахи приближались. Постепенно я успокоился. Услышал, как он добрался до первой площадки, где стоял телефон. Затем — нетвердые шаги.

— Фрэнк! — выкрикнул он.

Я замер и не откликнулся. Инстинктивно, пожалуй, или по привычке — сколько раз я делал вид, будто меня нет, и слушал, как ведут себя люди, полагая, что они одни. Дышал я тихо и медленно.

— Фрэ-э-энк! — заорал он.

Я приготовился подняться на чердак — на цыпочках, спиной вперед; главное — не наступать на скрипящие ступеньки. Отец замолотил в дверь туалета на втором этаже, потом ругнулся, обнаружив, что она не заперта, и затопал вверх. Шаги приближались. Неровные шаги. Он пыхтел, спотыкался, шаркал о стену. Я тихо поднялся по лестнице и, ловко извернувшись, вытянулся на дощатом чердачном полу. Голова моя покоилась примерно в метре от люка, руку я держал на шершавом кирпиче, чтобы, если папа заглянет на чердак, шмыгнуть за дымоход. Я зажмурился. Папа тем временем стал ломиться в дверь моей комнаты. Открыл ее.

— Фрэнк! — опять выкрикнул он. Потом: — А-а... х-хуй с ним...

Сердце мое так и подпрыгнуло. Раньше я ни разу не слышал, чтобы отец матерился. В его устах это звучало непристойно, не то что у Эрика или Джейми. Из люка донеслось его шумное дыхание, пахло табаком и виски.

Опять шаги, на этот раз удаляющиеся, и грохот захлопнувшейся двери его спальни. Я набрал полную грудь воздуха, только теперь осознав, что задерживал дыхание. Сердце бешено колотилось; даже странно, что папа не услышал сквозь тонкие доски его гулкие удары. Я еще немного подождал, но все было тихо, не считая приглушенного белого шума из гостиной. Наверно, папа оставил включенным телевизор, причем на промежуточном канале, где ничего не принимается.

Я дал отцу еще пять минут, тихо поднялся, отряхнулся, заправил футболку, поднял Вещмешок, укрепил на поясе рогатку, нашарил в темноте жилет, прокрался со всем своим хозяйством на площадку и, стараясь ступать как можно мягче, спустился вниз.

Телевизор озарял пустую гостиную яркими сполохами, оглашал истошным шипением. Я щелкнул выключателем, и стало тихо. Повернулся уходить — и увидел валявшийся в кресле отцовский твидовый пиджак. Я взял его, и в нем что-то звякнуло. Обыскал карманы, морщась от пропитавшего ткань запаха табака и алкоголя. В ладонь легла связка

ключей.

Я извлек их и принялся изучать. Ключ от входной двери, ключ от задней двери, ключ от подвала, ключ от сарая, пара незнакомых мне ключей поменьше и еще один ключ от какой-то комнаты в доме, такой же, как от моей спальни, но с другой резьбой. У меня пересохло во рту, рука с ключами задрожала. На ней выступил пот — яркие бисеринки в складках ладони. Либо это ключ от его спальни, либо...

Я рванул наверх, перескакивая через три ступеньки кряду, сбиваясь с ритма только для того, чтобы пропустить скрипучую. Мимо кабинета, наверх — и к двери отцовской спальни. Дверь была приоткрыта, ключ торчал в замке. Явственно доносился отцовский храп. Мягко прикрыв ее, я сбежал вниз, к кабинету. Вставил ключ в замок — и он повернулся как по маслу. Выдержав секунду-другую, я крутанул ручку и открыл дверь.

Я щелкнул выключателем. Кабинет.

Там было жарко, душно и некуда шагу ступить. С потолка свисала очень яркая лампочка без абажура. Из мебели — два письменных стола, конторка и раскладушка с мятым несвежим бельем. Книжный шкаф, два составленных углом лабораторных стола с массой бутылочек и химического оборудования: склянки, пробирки и конденсатор, подсоединенный к раковине в углу. Пахло чем-то вроде нашатыря. Я высунул голову в коридор, прислушался, уловил очень далекий храп и тогда вытащил ключ, закрыл дверь и заперся изнутри.

Я увидел ее, как только закрыл дверь. Банка для препаратов стояла сверху на конторке, которая находилась у самой двери, отворявшейся внутрь и прикрывавшей ее от взгляда из коридора. Банка была заполнена прозрачной жидкостью, видимо спиртом. В спирту — крошечные изувеченные мужские гениталии.

Я смотрел на них, не отнимая руки от ключа в двери, и к моим глазам подступили слезы. В горле вдруг что-то набухло, глаза и нос до отказа наполнились жидкостью — и прорвало. Я стоял и рыдал, по щекам текли соленые ручейки. Из носу тоже лилось рекой, я чихал и шмыгал, грудь ходила ходуном, на скулах двигались желваки. Я забыл и об Эрике, и об отце — обо всем, кроме себя и своей утраты.

Прошло какое-то время, прежде чем я взял себя в руки, причем я не злился на себя, не говорил, что разнюнился, мол, хуже девчонки, — нет, я просто выплакался и ощутил, что тяжесть ушла из головы и теперь осела в животе. Я вытер лицо футболкой, тихо высморкался и принялся методично обыскивать комнату, игнорируя банку на конторке. Может, это и

единственный здешний секрет, но я хотел знать наверняка.

В основном там был всякий хлам. Хлам и химикаты. Ящики письменного стола и конторки ломились от древних фотографий и бумаг. Там были старые письма, счета и записки, документы, бланки, страховые полисы (ни одного — на меня, да и в любом случае все давно просроченные), страницы рассказа или романа, отпечатанного на раздолбанной пишущей машинке, с массой исправлений и все равно ужасного (о коммуне каких-то хиппи где-то в пустыне и как они вступают в контакт с пришельцами); там были стеклянные пресс-папье, перчатки, значки с психоделической символикой, несколько древних синглов «Битлз», номера «Oz» и «IT»,^[9] ручки с высохшими чернилами и сломанные карандаши. Мусор, сплошной мусор.

Но одно отделение конторки, под выдвижной крышкой, оказалось заперто: дверца с петлями снизу и замочной скважиной вверху никак не подавалась. Я вытащил из двери связку ключей, и, естественно, один из маленьких подошел. Я откинул дверцу, извлек четыре ящичка и расставил на крышке конторки.

Я стоял, глядя на их содержимое, пока ноги не стали ватными, и тогда рухнул на шаткий стульчик, выдвинув его из-под конторки. Я уронил голову на руки, меня снова начала бить дрожь. Сколько всего еще предстоит мне узнать этой ночью?

Из одного ящичка я извлек синюю упаковку женских тампонов. Там же лежала коробочка с надписью: «Гормоны — мужские». Открыв ее трясущимися пальцами, я увидел совсем крошечные коробочки, аккуратно промаркированные по датам черной шариковой ручкой — на полгода вперед. Другая коробочка из другого ящичка была обозначена «KBr», и сокращение показалось мне смутно знакомым — но очень смутно.

В двух остальных ящиках были плотно скатанные трубочки пяти- и десятифунтовых купюр и целлофановые пакетики с маленькими бумажными квадратиками внутри. Но у меня уже не было сил ломать голову, гадая, что бы это могло быть; я лихорадочно обдумывал ужасную мысль, только что меня осенившую.

Я думал об этих его руках, едва покрытых пушком, о его тонких чертах лица. Я попытался вспомнить, видел ли когда-нибудь отца голым по пояс, но так и не смог. Тайна. Не может быть. Я замотал головой, но мысль не отпускала. Ангус. Агнес. Обо всем происшедшем я знаю только с его слов. Миссис Клэмп не в счет. Понятия не имею, насколько ей можно доверять, что они друг на друга имеют. Но не может быть! Это настолько чудовищно, настолько омерзительно! Я вскочил, громко опрокинул стул.

Схватил упаковку с тампонами и коробку с гормонами, схватил ключи, отпер дверь и бросился наверх, сунув ключи в карман и обнажив нож.

— Фрэнк этого так не оставит, — прошипел я сквозь зубы.

Я ворвался в отцовскую спальню и включил свет. Отец распластался на кровати, одетый, в одном башмаке. Другой валялся прямо под свисавшей с кровати ногой в носке-сеточке. Отец лежал на спине и храпел. Вот он шевельнулся, сощурился, поднес руку к лицу и отвернулся от света. Я подошел к нему, откинул его руку с лица и дважды с силой хлестнул по щекам. Голова его дернулась, он вскрикнул. По очереди разлепил веки. Я поднес к его лицу нож, и он сфокусировал взгляд на клинке, вернее, попытался сфокусировать. Ужасно несло перегаром.

— Фрэнк... — устало выговорил он.

Я ткнул ему в лицо ножом, остановив лезвие в каком-то сантиметре от переносицы.

— Скотина! — выплюнул я. — Что это? — И потряс перед ним коробками с тампонами и гормонами.

Он застонал и зажмурился.

— Говори! — завопил я и снова ему вмазал, теперь тыльной стороной руки, в которой был нож.

Он попытался перекатиться по кровати к открытому окну, но я удержал его на самой границе душной ночи.

— Нет, Фрэнк, нет, — выдавил он, отпихивая мои руки. Я бросил упаковки и крепко ухватил его за локоть. Подтянул к себе, приставил нож к горлу.

— Ты мне все расскажешь, а не то...

Не договорив, я отпустил его руку и стал расстегивать ремень на его брюках. Отец пытался неуклюже сопротивляться, но я хлопнул его по рукам и снова вскинул нож к горлу. Глядя ему в глаза, я расстегнул молнию на его ширинке, пытаюсь не думать ни о том, что я могу там найти, ни о том, чего могу *не* найти. Отстегнул пуговицу над молнией, выдернул хвосты рубашки, рывком приспустил брюки. А он лежал на кровати, смотрел на меня покрасневшими, слезящимися глазами и мотал головой:

— Фрэнки, т-ты что з-задумал? П-прости, мне дис-ститительно очень жаль, оч-чень. Это просто эсс-спримент. Просто эсс-спримент... П-жалста, не надо... Фрэнки... п-жалста...

— Ты, сука! Сука! — выкрикнул я, чувствуя, что у меня все поплыло перед глазами и задрожал голос.

И, дернув что было силы, я спустил с него (с нее) трусы.

Заоконную черноту прорезал дикий вопль. Я стоял и глядел на папин внушительный и, признаться, не очень чистый член, на яйца в темных волосах, а за окном истошно надрывалось какое-то животное. Ноги у отца дрожали мелкой дрожью. И тут вспыхнул свет — оранжевые сполохи — там, где никакого света быть не должно, в дюнах, и раздались новые крики, визги, блеянье — казалось, со всех сторон.

— Господи Иисусе, это еще что такое? — выдохнул отец, повернув к окну трясущуюся голову.

Я отступил от него и шагнул к окну у изножья кровати. Свет и вой, казалось, приближаются со стороны дюн. Желтоватое дымное зарево плясало над большой дюной за домом, там, где был Уголок Черепов. Звук был похож на тот, что издавала горящая собака, только мощнее, объемнее и другого тембра. Свет стал ярче, и какое-то существо выскочило на гребень большой дюны и понеслось вниз по склону, пылая и заходясь воем. Это была овца, за одной последовали и другие. Две, потом еще полдюжины — галопом по траве и песку. Еще мгновение — и горящие овцы рассыпались по всему склону; объятые пламенем, они очумело блеяли, скакали, не разбирая дороги и оставляя за собой огненный след там, где занялась трава.

И тут я увидел Эрика. Пошатываясь, ко мне подошел отец, но я смотрел лишь на тощего оборванца, что приплясывал на верхушке дюны. В одной руке у него был огромный горящий факел, в другой — топор. И он тоже вопил что есть мочи.

— О боже, только не это, — проговорил отец. Я повернулся к нему — он уже натягивал брюки. Оттолкнув его плечом, я метнулся к двери.

— Давай за мной! — крикнул я ему на ходу и ссыпался по лестнице, не удосужившись посмотреть, идет он или нет.

Огни мелькали во всех окнах, истошные крики овец разносились вокруг всего дома. Добравшись до кухни, я подумал, не прихватить ли заодно и воды, но решил, что сейчас это будет лишнее. С крыльца я спрыгнул в сад за домом. И чуть не столкнулся с овцой, шерсть на которой горела только у хвоста; овца просквозила через полыхающий сад, с диким блеяньем шарахнулась от двери и в последний момент перепрыгнула через низенькую ограду в сад перед домом. Я побежал искать Эрика.

Повсюду овцы, кругом — огонь. Пылала трава в Уголке Черепов, языки пламени лизали сарай, кусты, цветы и деревья в саду, догоравшие мертвые овцы валялись в лужах багрового огня, а еще живые метались туда-сюда, гортанно стенали, надтреснуто завывали и отчаянно блеяли. Эрик был на ступеньках, ведущих в подвал. Я увидел факел, которым он раньше размахивал, — тот коптил стену под окном туалета первого этажа.

Топором Эрик крушил дверь погреб.

— Не надо, Эрик! Нет! — завопил я. Ринулся было вперед, но резко развернулся и, заглянув за угол, на крыльцо с распахнутой дверью, крикнул: — Пап! Беги из дома! Пап!

Из-за спины доносился грохот разносимых в щепу досок. Я побежал к Эрику. Перепрыгнул через тлеющий овечий труп, валявшийся перед лестницей в погреб. Эрик тут же замахнулся на меня топором. Я поднырнул под его замах и откатился в сторону, тут же вскочил на ноги, готовый отпрянуть, но Эрик уже снова крушил дерево, пронзительно взвизгивая при каждом богатырском ударе, будто он сам был этой дверью. Лезвие топора прошло насквозь и застряло; Эрик пошевелил топорище и высвободил инструмент, покосился в мою сторону и продолжил рубить. В свете факела его тень падала прямо на меня; факел был прислонен к косяку, и я видел, как пузырится свежая краска. Я извлек рогатку. Дверь уже едва держалась.

Отец так и не появился. Эрик снова оглянулся на меня и обрушил топор на дверь. Пока я доставал из мешочка шарик, за спиной раздался овечий вопль, совсем близко. Кругом трещал огонь, пахло жареным мясом. Шарик лег в резинку, и я прицелился.

— Эрик! — заорал я, и тут дверь подалась.

Не выпуская топора, свободной рукой он сгреб факел; наподдал по двери ногой, и та рухнула. Я натянул резинку на последний, главный сантиметр. Глянул на Эрика в прицеле железных рогов. Его лицо, прокопченное, заросшее бородой, казалось маской какого-то животного. Это был мальчик, юноша, которого я знал, и в то же время абсолютно другой человек. Он улыбался от уха до уха, и, казалось, лицо его пульсирует в огненных отсветах в такт вздымающейся груди, хриплому дыханию. У него был топор и факел, а за ним лежала разнесенная в щепы дверь погреб. В проеме смутно виднелись тюки с порохом, темно-оранжевые в свете бушующего вокруг огня и факела в руке брата. Эрик смотрел на меня, словно чего-то ждал, но не мог вспомнить чего.

Я помотал головой.

Он захохотал, закивал и то ли выронил, то ли швырнул факел в погреб и бросился на меня.

Я чуть не выстрелил в упор, увидев в прицеле рогатки, что Эрик бежит ко мне, но в последнюю секунду, прежде чем разжать пальцы, я заметил, что он выронил топор; тот лязгнул на каменных ступеньках, а Эрик вильнул, обходя меня, я же отпрянул и увидел, что он удирает через сад в южном направлении. Я выронил рогатку, скатился в погреб и схватил

факел. Тот лежал буквально в метре от двери, до тюков — как до Луны. Я все равно поскорее выбросил его на улицу — в тот самый момент, когда в пылающем сарае пошли рваться бомбы.

Грохот был оглушительный, над головой со свистом полетела шрапнель, в доме высадило окна, а сарай разнесло на кусочки; несколько бомб вылетели из сарая и взорвались где-то в саду — но, к счастью, все далеко от меня. Когда опасность наконец миновала и я поднял голову, то сарай как слизнуло, все овцы погибли или убежали, а Эрика и след простыл.

Отец сидел на кухне с ведром воды и ножом для разделки мяса. Когда я вошел, он положил нож на стол. Казалось, он постарел сразу лет на сто. Перед ним стояла банка для образцов. Я сел во главе стола, скрипнул стулом. Поднял взгляд на отца.

— Пап, это был Эрик, — сказал я и рассмеялся. В ушах у меня до сих пор гудело от взрывов.

Отец встал, близоруко щурясь, и трясущейся рукой утер слезу. Ну и видок у него — старый маразматик, и только. Я понемногу успокоился.

— Что... — начал он и закашлялся. — Что произошло? — Голос у него был почти трезвый.

— Он пытался проникнуть в погреб. Наверно, хотел взорвать нас всех к чертовой бабушке. Теперь он убежал. Я поставил дверь на место, как смог. Огонь почти весь потух, так что это, — я кивнул на ведро воды, — уже не понадобится. Сядь-ка лучше и объясни мне кое-какие непонятности. — Я откинулся на спинку кресла.

Пристально посмотрев на меня, он взял банку для образцов, но она выскользнула у него из рук, упала на пол и разлетелась вдребезги. Он нервно хохотнул, нагнулся и поднял то, что было в банке. Протянул мне, чтобы я посмотрел поближе, но я глядел ему в глаза. Он сжал кулак и тут же разжал — как фокусник. На его ладони лежал розовый шарик. Не яичко — розовый шарик, то ли пластилиновый, то ли восковой. Я снова посмотрел отцу в глаза.

— Рассказывай, — потребовал я.

И он рассказал.

Однажды я отправился далеко на юг, даже за новый дом, и строил там плотины среди песков и отливных лужиц. День выдался теплый и ясный. Небо сливалось с морем, и любой дымок поднимался строго вертикально. Морская гладь — была гладью.

В отдалении, на покатом склоне, кое-где зеленели луга. На одном из них паслись коровы и две большие гнедые лошади. Когда я строил плотину, к полю подъехал грузовичок. Он остановился у ворот и развернулся кузовом в мою сторону. До поля было примерно полмили, и я вскинул бинокль. Из кабины выбрались двое. Они откинули задний борт, так что получился небольшой деревянный пандус, даже с ограждением — щелевой такой заборчик с двух сторон. Лошади подошли поближе, им было любопытно.

Я стоял в резиновых сапогах по колено в воде, отбрасывая зыбкую рябую тень. Мужчины зашли в ворота и вернулись с одной из лошадей в поводу, вернее, накинули ей на шею веревку. Лошадь послушно шла за ними, но когда ее вознамерились завести на деревянный пандус и в кузов, то она заартачилась, отпрянула, закрутила головой. Вторая лошадь прижалась к изгороди позади нее. Через секунду-другую в неподвижном воздухе разнеслось громкое ржание. Некоторые коровы лениво покосились на грузовик и продолжали жевать свою жвачку.

Крошечные волны, ясные складки света с тихим плеском поглотили песок, камни, водоросли и ракушки у меня за спиной. В замершем воздухе разнесся птичий щебет. Мужчины отогнали грузовичок подальше и повели лошадь следом. Другая заржала и принялась растерянно бегать кругами. У меня устали глаза и руки затекли держать бинокль; я глянул на север, где холмы переходили в предгорья, а те — в горы, и все исчезало в яркой дымке. Когда я снова посмотрел на луг, лошадь была уже внутри грузовичка.

Секунду пробуксовав, грузовичок тронул с места. Одинокая лошадь, совершенно сбита с толку, заметалась по лугу — то к воротам, то назад. Один из мужчин остался с ней на пастбище и, когда грузовичок скрылся из виду, успокоил животное.

Потом по пути домой я прошел мимо этого луга, и лошадь спокойно щипала траву.

Теперь, свежим и ветреным воскресным утром, я сижу на дюне над Бункером и вспоминаю, как вчера мне приснилась эта лошадь.

После того как отец наконец раскололся и я, преодолев неверие и ярость, вынужден был принять эту ошеломляющую правду, после того как мы обошли сад, выкликая Эрика, ликвидируя, по мере сил, бардак и гася оставшиеся очаги возгорания, после того как мы забаррикадировали дверь погреба и вернулись в дом и отец рассказал мне, почему сделал то, что сделал, — мы легли спать. Я заперся в своей спальне, а он, полагаю, в своей. Мне приснился сон, в котором я заново пережил ту историю с лошадьми; проснулся я рано и отправился на поиски Эрика. Уходя, я видел приближающегося по тропинке Диггса. Отцу многое придется объяснить. Я оставил их беседовать.

Наконец-то развиднелось; ничего драматического, ни бури, ни грома и молний, просто западный ветер унес все облака далеко в море, а вместе с ними и этот жуткий зной. Похоже на чудо, хотя скорее это антициклон где-нибудь над Норвегией. Так что утро выдалось ясное и прохладное.

Эрика я обнаружил на дюне над Бункером; он спал, по-детски свернувшись калачиком, примяв головой траву. Я поднялся к нему, молча посидел рядом, затем произнес его имя, легонько ткнул в плечо. Он проснулся, поглядел на меня и улыбнулся.

— Привет, Эрик, — сказал я.

Он протянул руку, и я крепко сжал ее в своей. Он кивнул, не переставая улыбаться. Потом лег поудобнее, пристроил свою курчавую голову у меня на коленях, закрыл глаза и опять заснул.

Я не Фрэнсис Лесли Колдхейм. Я Фрэнсес Лесли Колдхейм. Вот к чему все сводится, если вкратце. Тампоны и гормоны предназначались мне.

Наряжая Эрика как девочку, папа, оказывается, всего лишь репетировал. Когда меня искушал Старый Сол, отец увидел в этом идеальную возможность для маленького эксперимента, а также способ сократить (а то и свести к нулю) женский фактор в своей жизни. Так что он начал пичкать меня мужскими гормонами — и с тех пор не переставал. Вот почему он всегда готовил сам, вот почему то, что я всегда считал огрызком члена, — это на самом деле увеличенный клитор. Вот откуда щетина, и никаких тебе критических дней, ну и так далее.

Но последние несколько лет он все-таки хранил тампоны — на тот случай, если мои родные гормоны возьмут верх над теми, которыми он меня накачивал. А бромид калия — на тот случай, если дополнительный

андроген распалит меня сверх меры. Он слепил фальшивые мужские гениталии из того же воскового набора, который я нашел под лестницей и задействовал для изготовления свечей. Банку он планировал продемонстрировать мне в том случае, если я начну сомневаться, а был ли инцидент. Очередное доказательство; очередная ложь. Даже вся эта тема насчет бздения тоже надувательство; просто они с Дунканом давние приятели, и отец угощает его выпивкой в обмен на информативный звонок после моего визита в «Колдхейм-армз». Даже сейчас я не могу быть уверен, что он рассказал мне все, хотя вроде ночью его обуял исповедальный зуд и в глазах стояли самые настоящие слезы.

Я думаю об этом, и во мне опять вскипает злость, но я ее давлю. Вчера на кухне, когда он все рассказал мне и убедил, я хотел прибить его на месте. Какая-то часть моего «я» до сих пор хочет верить, что это просто очередная его ложь, но на самом деле я понимаю, что это правда. Я — женщина. Бедра изнутри в шрамах, половые губы слегка пожеваны, и привлекательности ни на грош, но, если верить папе, я вполне нормальная женщина, способная как к половому акту, так и к деторождению (при мысли о том или другом меня трясет).

Я смотрю на мерцание моря, чувствую голову Эрика у себя на коленях и снова думаю о той бедной лошади.

Понятия не имею, что мне делать. Остаться здесь я не могу, а мысль об отъезде пугает. Но уехать, наверно, все-таки придется. Нет, но какая засада. Может, я подумал бы о самоубийстве, если бы некоторые родственнички не отличились уже на этой стезе, да так, что трудно тягаться.

Я опускаю взгляд на Эрика, глажу его по голове — неподвижной, грязной, спящей. Лицо его безмятежно. Боли он не ощущает.

Я смотрел, как набегают на берег маленькие волны. Море — это водяная линза, двояковыпуклая, гибкая и обтекающая землю; я гляжу на рябщую пустыню и вспоминаю море плоским, как соляное озеро. В других местах география иная: море бурлит, волнуется и показывает норы, собирается в складки, когда задует свежий бриз, бугрится холмами, когда крепчают пассаты, и наконец вздымается в клочьях снежной пены горными цепями, стоит ветру разогнаться до штормового.

А там, где я, там, где мы сидим и лежим, спим и глядим в этот летний день, снег выпадет лишь через полгода. Лед и стужа, иней и изморозь, рожденный над Сибирью, долетевший до Скандинавии и пересекавший Северное море воющий буран, серые воды мира и мышастые токи неба наложат на наши места свою холодную суровую лапу, временно присвоят

их себе.

Мне хочется то смеяться, то плакать, или и то и другое сразу, когда я сижу тут и думаю об одной моей жизни, о трех смертях. В каком-то смысле и о четырех, поскольку отцовское признание убило того, кем я был.

Но я ведь — по-прежнему я; я — та же личность, с тем же багажом воспоминаний и поступков, с теми же (невеликими) достижениями и теми же (ужасающими) преступлениями в послужном списке.

Почему? Как я мог совершить такое?

Возможно, дело в том, что я полагал, будто лишился самого драгоценного в мире: причины и способа продолжения нашего существования как вида, — причем лишился прежде, чем узнал его ценность. Возможно, в каждом случае я убивал из мести, ревниво взимая дань — единственным доступным мне способом — с тех, кто оказывался в пределах моей досягаемости; с равных мне, которые иначе выросли бы и стали тем единственным, чем мне стать не суждено, — взрослыми.

Лишенный, можно сказать, одной воли, я сфабриковал другую; чтобы зализать собственную рану, я срезал под корень их, оплачивая в своей гневной невинности за оскпление, которого я тогда не мог должным образом оценить, но почему-то — возможно, благодаря реакции окружающих — ощущал как несправедливую, безвозвратную утрату. Не имея ни цели в жизни, ни способности к продолжению рода, я поставил все на их противоположность и таким образом открыл для себя отрицание того, на что могли претендовать лишь другие. Видимо, я решил, что раз никогда не смогу стать мужчиной, то, лишенный природной мужественности, превзойду окружающих в мужественности благоприобретенной, — и так я стал убийцей, симитировал в миниатюре образ безжалостного солдата и героя, к которому вся известная мне литература и кинематограф относятся со священным трепетом. Оружие я придумаю и изготовлю себе сам, а жертвами моими будут те, кто совсем недавно появился на свет в результате единственного акта, на который я не способен; равные мне в том плане, что хотя и обладают всем необходимым инструментарием, но в настоящее время произвести данный акт способны ничуть не больше моего. И еще не ясно, кто кому завидовать должен (это я о пенисах).

А теперь выясняется, что все — на пустом месте. Мстить было не за что, кругом обман, который давно полагалось раскрыть, но я этого упорно не хотел; простенький камуфляж застилал мне глаза — даже при том, что я находился внутри. Я был горд: евнух, но уникальный; лютый, но благородный призрак в моих владениях, рыцарь-инвалид, падший принц...

А теперь выходит, что всю дорогу я был шутом.

Веря в свою великую травму, в буквальную отрезанность от всего «материкового» человечества, я, видимо, подходил к жизни слишком серьезно, а к чужой жизни, напротив, слишком легковесно. Убийства — мой вариант зачатия; единственная доступная для меня форма секса. Фабрика — это как искусственная жизнь, попытка сымитировать взаимоотношения, которые в своей естественной форме мне претили.

Что ж, в смерти преуспеть всегда легче.

В Фабрике высшего порядка вещи не так шаблонны (лекала другие), как на моем прежнем опыте. Каждый из нас в своей личной Фабрике может считать, что коридор уже выбран и ловушка захлопнулась, что мы движемся предначертанным маршрутом к той или иной неотвратимой судьбе (светлая греза или жуткий кошмар, рутина или гротеск, хорошо или плохо), — но достаточно одного лишь слова, взгляда, достаточно оступиться, и золотой чертог превращается в подзаборную канаву, а крысиный лабиринт — в зеленую улицу. Конечный пункт у всех один, а вот маршрут — отчасти выбираемый, отчасти predetermined — у каждого свой и меняется в мгновение ока. Я думал, моя ловушка захлопнулась много лет назад, а оказывается, все это время я лишь ползал по циферблату. И только сейчас скрипит люк, только сейчас начинается настоящий путь.

Я снова перевожу взгляд на Эрика, и улыбаюсь, и киваю своим мыслям, чувствуя на лице свежий ветерок, а прибой шумит, пенятся волны, и шуршит трава, и перекликаются птицы. Пожалуй, надо будет рассказать ему, что со мной случилось.

Бедный Эрик так рвался домой повидать братика — и вдруг выясняется (трах! ба-бах! прорыв плотины! бомба за бомбой! осы горят: *пи-ш-ш-ш-ш!*), что у него есть сестричка.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Единственное, что хотелось бы отметить, причем даже не сноской, а именно что напоследок.

ЕСЛИ РОМАНА ВЫ ЕЩЕ НЕ ЧИТАЛИ, А СЛУЧАЙНО ОТКРЫЛИ В КОНЦЕ, ТО НЕМЕДЛЕННО ЗАКРОЙТЕ, А ТО ПОТОМ БУДЕТ НЕИНТЕРЕСНО.

Так вот, в третьей главе имеется следующий пассаж:

Киноклуб зазывал на «Жестяной барабан», но так называлась книга, которую когда-то купил мне отец, это был настоящий подарок, большая редкость, так что читать ее я ни в коем случае не стал, равно как и «Майру Брекинридж», другой из его редких подарков.

В отличие от большинства других рассредоточенных по тексту маркеров, тонких намеков, бросающихся в глаза уже только при втором-третьем прочтении, здесь Бэнкс позволяет себе намек в лоб. «Жестяной барабан» (1959) — первый и самый знаменитый роман Гюнтера Грасса, о мальчике, который отказывается расти. Действие происходит в Данциге/Гданьске в предвоенное и военное время, и один из самых сильных повествовательных эффектов — дисбаланс между неизменным за десяток с лишним лет физическим обликом главного героя (маленький мальчик) и его внутренним развитием. Известна экранизация Фолькера Шлендорфа (1979) — тот, правда, перенес на экран события лишь первой половины романа, пока Оскар не начал все-таки расти; к слову сказать, на момент действия «Осиной Фабрики» фильм был сравнительно свежий — события происходят летом 1981 года. «Майра Брекинридж» (1968) — это роман Гора Видала, в свое время весьма скандальный: о транссексуальности, перемене пола и др. (через шесть лет Видал выпустил продолжение — «Майрон»). Также был экранизирован — в 1970 году (режиссер Майкл Сарн, в главных ролях: Мей Уэст, Рэкел Уэлч, Джон Хьюстон).

Примечания

Джон Пил (Джон Роберт Паркер Равенскрофт, 1939–2004) — знаменитый английский радиоведущий. Прославился на пиратской радиостанции Radio London, с 1967 г. вел программу на Первом канале Би-би-си (Radio One). В соответствующее время активно пропагандировал психоделию, панк, реггей, электронную и хаус-музыку, этнику и др., предпочитает работать с независимыми лейблами и малоизвестными музыкантами. В июле 1991 г. посетил Санкт-Петербург.

«Миллз-энд-Бун» — английское издательство, основанное в 1908 г. Джеральдом Миллзом и Чарльзом Буном. В 1971 г. приобретено канадским издательством «Арлекин», и «Арлекин Миллз-эндБун» — едва ли не крупнейший транснациональный производитель дамских романов.

Пол (Paul) и Сол (Saul) — английское произношение имен Павел и Савл. См. инцидент по дороге в Дамаск. Святой апостол Павел носил имя Савл до принятия им христианской веры (Деян. 22, 11; 26, 15 и 17).

Coup de grace (фр.) — смертельный удар, удар милосердия.

В дословном переводе с японского слово «камикадзе» означает «божественный ветер» — в память о буре 1281 г., разметавшей монгольский флот вторжения, посланный в Японию Хубилаем.

«Красная смерть» — коктейль на основе апельсинового сока, содержащий водку, ликер «Амаретто», бурбон «Сазерн камфорт», апельсиновый ликер «Трипл сек» и сливянку.

Ср.: «Умереть; уснуть. — Уснуть! // И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность; // Какие сны приснятся в смертном сне...» (Шекспир У. Гамлет. Акт III, сц. 1. Пер. М. Лозинского.)

Молт — немарочное виски. Марочное виски (так же, как и марочный коньяк) должно иметь стандартный вкус, что достигается купажем — смешиванием партий различных лет производства; «молт» же этой операции не подвергается и состоит из спиртов одного года.

Известные «андерграундные» сатирические журналы 1960-х — начала 1970-х годов, как музыкальной, так и общественно-политической направленности; с ними был связан ряд скандальных судебных процессов. «Oz» (1963–1973) первоначально выходил в Австралии, с 1967 г. — в Лондоне, главный редактор — Ричард Невилл. «IT» расшифровывается «International Times»; именно в «IT» была напечатана в 1968 г. скандальная миниатюра Дж. Г. Балларда «Почему я хочу трахнуть Рональда Рейгана», из-за которой американское издание сборника Балларда «Выставка жестокости» было в 1970 г. пущено под нож.